

СИБИРИАДА

МИХАИЛ
ЩУКИН

ДИХИЕ ГОСТИ

Сибиряда

Михаил Щукин

Лихие гости

«ВЕЧЕ»

2012

Щукин М. Н.

Лихие гости / М. Н. Щукин — «ВЕЧЕ», 2012 — (Сибириада)

Вторая половина XIX века. Широкий и необъятный край Сибирский. В верховьях реки Талой, приманивающей золотоискателей, лиходеев и торговцев, разворачиваются события отнюдь не семейной драмы Данилы Шайдурова, умыкнувшего любимую без благословения, но государственной важности. Вокруг парочки лиходеев – политического авантюриста Цезаря Белозерова и бывшего монаха-расстриги Бориски, мечтающего о «собственном царстве», – в сибирской глухомани объединяются варнаки: беглые каторжники, нищоброды и прочий разбойный люд. Шайка становится главной бедой и угрозой благостному убежищу староверов, укрывшихся за Кедровым кряжем. Но ни те ни другие не хотят жить в таком соседстве...

© Щукин М. Н., 2012

© ВЕЧЕ, 2012

Содержание

Часть первая	6
1	6
2	8
3	10
4	12
5	16
6	19
7	21
8	23
9	27
10	32
11	35
12	38
13	42
14	46
15	49
16	51
17	55
18	57
Часть вторая	59
1	59
2	60
3	64
4	67
5	70
6	75
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Михаил Щукин

Лихие гости

©Щукин М.Н., 2012

©ООО «Издательство «Вече», 2012

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

*От черта крестом, от свиньи пестом,
а от лихого человека ничем...*
(Русская пословица)

Часть первая

1

В Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, а затем, после его упразднения, в департаменте полиции Министерства внутренних дел Российской империи, этого человека никто не называл по фамилии, должности или званию. И первое, и второе, и третье ведомо было лишь очень узкому кругу лиц, в том числе Императору. Для всех остальных он именовался просто и незатейливо – Александр Васильевич.

Низенького роста, лысоватый, с узенькими полосками седых бакенбард на впалых, морщинистых щеках, он был по-юношески подвижен и обладал звонким, сочным голосом, которым любил в минуты хорошего настроения или когда был очень сердит разговаривать сам с собою.

В его распоряжении имелся отдельный кабинет, довольно просторный, но скромный чрезвычайно: стол, покрытый зеленым сукном, три стула и старое деревянное кресло. Вдоль глухой стены громоздился огромный железный сейф, выкрашенный серой, казенной краской. Больше в кабинете ничего не имелось.

За окном тускло занималось сырое петербургское утро.

Александр Васильевич, зябко потирая руки, прибыл на службу и первым делом быстро просмотрел доставленную ему накануне почту. Один конверт сразу же отложил в сторону. Долго вглядывался в него, озабоченно сдвинув лохматые седые брови, затем решительно разорвал конверт цепкими пальцами и вынул из него наполовину согнутый лист бумаги, покрытый мелким, убористым почерком. Продолжая хмуриться, прочитал:

«Милостивый государь, Александр Васильевич!

Настоящим спешу доложить, что окончательно устроился в известном Вам месте и приступил к делу.

Первые выводы таковы: предположения, высказанные Вами, имеют под собой реальную почву. Есть все основания для утверждения следующего: существует факт серьезной угрозы основам государственного строя. Угрозы необычной и до сих пор нам не встречавшейся. Противостоящие враждебные силы обладают четкой организацией и тщательной конспирацией. В своих действиях решительны и одновременно очень осторожны.

Приступил к сбору сведений. Как только появятся первые серьезные результаты, я немедленно о них доложу.

Не исключаю, что в сложившейся обстановке может возникнуть необходимость действовать без согласования с прокурорскими и судебными требованиями, вплоть до физического уничтожения. Прошу Вашего разрешения.

Коришн».

Александр Васильевич осторожно положил лист бумаги на стол, взял с чернильного прибора ручку, обмакнул перо и размашисто, наискосок в свободном углу написал: «Сообщить Коришну, что разрешение на его просьбу получено. Впредь переписку вести через 3-е делопроизводство¹». И расписался замысловатым росчерком, похожим на птичий клюв. Затем при-

¹ 3-е делопроизводство – секретное и важнейшее подразделение департамента полиции, ведавшее политическим сыском, всей внутренней и заграничной агентурой, охраной царя.

колол тонкой иголкой к полученному письму чистый листок бумаги и на нем уже неторопливо, почти каллиграфическим почерком вывел: «Для доклада Его Императорскому Величеству».

Вслух произнес:

– Appetиты у вас отменные, господа хорошие, да только кормить мы вас не намерены. Слюной захлебнетесь!

2

Ночью во дворе у Клочихиных грозно взлаяли кобели – цепные, злые до невозможности и чуткие в темноте на любой звук. Зазря, без причины, они своих голосов никогда не подавали, а в этот раз взлаяли и соскочили мгновенно на хрипящий рык, будто драли кого-то в ярости, разрывая на куски.

Что за напасть?! Артемий Семеныч взметнулся на теплой постели. Да так стремительно, словно в бок ему шило сунули. Впотьмах, на ощупь, схватил со стены ружье и как был в нижней рубахе и подштанниках, босым выскочил на крыльцо. Сразу спросонья ничего не различил, никого не увидел в темноте, но заорал, срывая голос:

– В-в-вижу, в-в-варнаки², в-в-вижу!

И для остротки, вздернув ствол ружья вверх: ж-жах!

Визгнула самодельная картечь, высекая щепу из верхушки глухого заплота³.

Кобели от выстрела впали в полный раж, как взбесились. Хрипели, рычали, барахтались, сцепясь в один клубок, и не было никакой возможности разглядеть – да кто же там, в середке беснующихся псов?

– Тятя! Кто?! Собаки-то!.. – Двое сыновей, Игнат с Никитой, выскочили на крыльцо следом – тоже с ружьями и в одном исподнем.

Артемий Семеныч дробно состучал по ступеням голыми пятками, соскочил на землю, взгляделся и закричал:

– Вилы! Вилы давай!

Никита бросился к навесу, загремел там, запнувшись, но вилы отыскал. Артемий Семеныч перехватил гладкий черенок, придвинулся еще ближе к рычащим кобелям и, падая вперед всей тяжестью крупного тела, с силой воткнул вилы-тройчатки. Выдохнул:

– Собак оттаскивай!

Кобелей кое-как растащили, посадили на короткие цепи, из дома бегом принесли фонарь и увидели: под вилами, которые все еще держал и не отпускал Артемий Семеныч, лежал на боку матерый волк. Морда его была извалына в земле, с загрызка свисал большой лоскут шкуры, вокруг – клочья вырванной шерсти.

– Ну-ка, погоди, свети сюда, ниже! – Артемий Семеныч согнулся над поверженным зверем, осторожно потрогал его за нос и сообщил: – Неладно, ребята. Не сам он к нам забежал.

– А как? Как он попал? – удивился Игнат и тоже наклонился над волком. – Ты с чего взял, тятя?

– Да вы гляньте, дурни! Драли его кобели, драли, а крови нигде нету, и сам он давным-давно холодный! Поднимай, тащи в сени, там разглядим. Да фонарь еще один запалите!

В сенях волка бросили на пол, оглядели со всех сторон при свете двух фонарей и нашли под правой лопаткой след от пули. А крови действительно не было, только в иных местах сочилась из-под содранной шкуры жиденькая блеклая сукровица.

– Выходит, подбросили его к нам, – снова заудивлялся Игнат. – А зачем?

Артемий Семеныч не ответил. Он и сам не понимал: что за надобность убитого волка в ограду подкидывать? Какой в этом тайный умысел?

Дверь в избу несмело, на ширину ладони, открылась, и Агафья Ивановна испуганным шепотом спросила супруга:

– Артемий Семеныч, чего деется? По какой надобности стрельба была?

– А чтоб жилось тебе веселей! Закрой, мать, дверь, без тебя разберемся! Ступай, спи.

² Варнаки (*сиб.*) – разбойники.

³ Заплот – забор, сложенный из пластин, наполовину распиленных в длину бревен.

– Да какой тут сон? Коленки трясутся, – прежним испуганным шепотом возразила Агафья Ивановна, но двери послушно прикрыла.

Волка решили оставить в дальнем амбаре – до утра. Завернули в старую рогожу и отнесли. Артемий Семеныч запер амбар на замок, ключ зажал в ладони. Крепко, изо всей силы. Вида он перед сыновьями не подавал, держал себя, как ключ в кулаке, крепко, а на самом деле пребывал в великой растерянности: муторно было на душе, томило недоброе предчувствие. Пошел домой, к крыльцу, и только теперь почувял, что босые ноги на остывлой осенней земле совсем замерзли. В избе пошоркал подошвами по половику, сел на лавку, привалился спиной к стене и снова думал, ломал голову: да кто же и по какой такой причине убитого зверя через заплот перекинул?

Никита с Игнатом, оглядев двор, тоже вернулись в избу, поставили фонари на приступку возле печки, и желтый свет вытолкнул темноту, проявились стол, лавка вдоль стены, даже божница в переднем углу, обрамленная домотканым вышитым полотенцем. А под божницей – с круглыми остановившимися глазами замерла, не шевелясь, Агафья Ивановна, и только беззвучно разевала рот, пытаясь что-то сказать. Наконец, от усилия зажмурив глаза, разродилась:

– Анна... Анны нету...

«Вот оно!» – Артемий Семеныч схватил фонарь и кинулся в боковушку, где спала дочь. Створки окна, которое выходило на огород, были наотмашь распахнуты, на постели валялись платки и кофточки, крышка сундука откинута, а в самом сундуке, как домовою баловался, – все перевернуто вверх тормашками. В великой спешке собиралась любимая дочь, убегая из родительского дома.

Артемий Семеныч зачем-то подскочил к открытому окну, уставился в темень, словно хотел кого-то увидеть на огороде. Не увидел. Повернулся, осторожно закрыл крышку сундука и тяжело сел – ноги не держали, будто ахнули его прямо в лоб тяжелым поленом.

«Вот суразенок⁴, как обещался, так и сделал – убогом увел!» – у него и малого сомнения не было, он точно знал, с кем сбежала дочь. А раз так – по-молодому вскочил с сундука и грозно крикнул:

– Ребята, седлай коней! Настигнем!

⁴ Суразенок, сураз – ребенок, рожденный вне брака.

3

А до этого было сватовство, которое закончилось для Данилы Шайдурова громадным и жгучим позором: бедолаге даже на крыльцо взойти не дозволили. Стоял, как оплеванный, смотрел вверх, задирая голову, осевшим голосом бормотал, заикаясь от душевного волнения:

– Анну вашу... За меня выдайте... Любовь промеж нас имеется... Холить, беречь буду...

Насмешливо взирал на него, с высоты семи ступеней резного крыльца, Артемий Семеныч Ключихин – статный, с молодецким разворотом плеч, с горделиво посаженной головой, кудрявый, как парнишка. Никогда и не подумаешь, что годы у мужика за полвека перескочили. Задумчиво шевелил он густыми бровями пшеничного цвета, шурил синие искрящиеся глаза. Молчал. Слушал.

За спиной у него – сыновья, погодки Игнат и Никита. Оба в отца – синеглазые. Рыжие бороды – из кольца в кольцо. И статью родители не обидели: весь дверной проем заслонили широкими плечами, ни щелочки не видать. Весело братчикам – не таясь, зубы скалят, ждут: чем сватовство закончится?

Пробормотал Данила свою невнятицу, сглотнул слюну, обессиленно выдохнул – будто неподъемное бревно с плеча скинул. И продолжал вверх глядеть, по-собачьи голову задирая, весь в тревоге: каков ответ будет?

Артемий Семеныч огладил бороду, приложил широкую ладонь к выпуклой груди и сронил гордую голову в уважительном поклоне. А когда ее поднял, в глазах у него будто яркие костерки вспыхнули, только что синие искры под ноги не просыпались. Заговорил степенно и уважительно:

– Благодарствуем вам, Данила... уж прости, не ведаю, как по батюшке... Такую честь великую нам оказали, снизошли до нас, сырых да убогих. Согласны мы, полной душой согласные Анну нашу просватать. Только вот просьбица малая имеется, уж не откажи в любезности, женишок ты наш драгоценный, купи ты, за ради Христа, штаны себе справные. А то у этих, глянь-ка, вся мотня сопрела. Выкатится ненароком твое хозяйство – и свадьба не в радость будет. А теперь ступай и не оглядывайся. Ступай, ступай с миром. А коли снова заявишься, я на тебя кобелей спущу.

И еще раз, на прощанье, сронил в поклоне кудрявую голову.

Ног под собой не чуял Данила, когда уходил с ключихинского двора. Горело лицо от нестерпимого стыда, будто лизнуло по щекам костровое пламя. В груди жар давил, да такой сильный, что пресекалось дыхание. Рвал Данила дрожащей рукой воротник новой рубахи, выдирали с мясом алые пуговицы, и они весело, с костяным стуком сыпались на деревянный настил. У калитки он обернулся, крикнул в отчаянии:

– Не желаете по-хорошему, я убогом ее уведу! Вот попомните!

Вышагнул на улицу и калитку за собой с такой силой шибанул, что могучий заплот, из листовенничных пластин сложенный, загудел.

Больше Данила не оглядывался, частил скорым шагом, а куда – не ведал. Туман стоял в глазах – ни зги не видел. Шел и шел. Запнулся о сухую валежину, рухнул плашмя на землю и тогда только мало-мало себя обрел. В горячке, оказывается, не меньше версты отмахал от деревни и лежал теперь на опушке бора на старой хвое и колючих сосновых шишках.

Как дальше жить? Завтра же разнесут досужие языки новость о его сватовстве по всей деревне, приврут и приукрасят, да так цветисто, что любой встречный будет в глаза посмеиваться, а за спиной пальцем показывать: вон он, жених, в штанах сопрелых! И зря, выходит, потратил он накопленные деньги на праздничный наряд, ведь штаны на нем, и рубаха, и картуз, и сапоги – все новенькое, ненадеванное ни разу до сегодняшнего дня. От бессилия Данила даже зубами скрипнул. Вскочил на ноги и давай обламывать сухие сучья валежины. Хряп! Хряп!

Сворачивал, налегая грудью, откидывал далеко в сторону, словно спешную работу торопился закончить. Утихомирился, когда всю валежину до последнего сучка обломал. Поднял картуз, отряхнул штаны от хвоинок и побрел к деревне, на самом краю которой, как на выселках, стояла его избушка.

От древности своей избушка давно вросла в землю, по самые два окошка, на крыше ключьями вызрел зеленый мох, а одна из покосившихся стен подперта была двумя бревнами – вот какими хоромами владел Данила Шайдуров, которого еще в детстве дразнили суразенком. И нынче выдразнили, да как выдразнили! По самому больному месту ударил его Артемий Семеныч, сделав вид, что отчества его не ведает. Есть у него отчество, есть! Андреевич он, Андреевич!

И вспомнилось, как мать, утешая его, прибежавшего в слезах с улицы, говорила:

– А ты их не слушай, неразумных, сами не знают, чего городят. Отец у тебя славный был, добрый, и отчество тебе оставил красивое – Андреевич. Да помер он, болезный, в дороге, когда тебя еще на свете не было. Шли мы с ним место для житья искать, а он простудился, до Успенки нашей я уж одна добрела. Здесь ты и родился...

Обнимала его большими мягкими руками, крепко прижимала к себе и целовала в вихрастую маковку. Матери своей Данилка всегда верил. И жалел ее с малых лет, видя, как колотится она в одиночку, чтобы прокормить себя и сына: в работницы нанималась к справным хозяевам, им же сено косила и молотила хлеб, а зимой со старой шомполкой ходила в тайгу и без добычи возвращалась редко. Данилка, когда чуть подрос, нигде от нее не отставал, тащился, как хвостик, и на поля, и в тайгу, но больше всего любил бывать с ней дома и слушать ее сказки-бывальщины, каждую из которых заканчивала она всегда одними и теми же словами: «Будет душа чиста – и всякая беда, как вода, на землю с тебя скатится...»

Нет нынче матери, вот уж третий год пошел, как тихо угасла Олимпиада Шайдурова. Некому сироту утешить.

Данила рывком отворил дверь в свою избушку, упал на топчан и повернулся лицом к стенке.

Умереть бы хоть, что ли!

4

Вот как в жизни случается: ни светило, ни шаяло, а пришло время – вспыхнуло. Припекло до болячки.

А все малина виновата, ягода лесная, будь она неладна, и провалиться бы ей в тартарары вместе с Медвежьим логом, где вызрела она в нынешнее лето невиданно.

– Да така рясна, така сладка, прямо спасу нет, сама во рту тает, – елейным голосом пела в ухо старая Митрофановна. – Я и тебе на зиму запасу, от любой хвори средство будет. Сослужи, Даня, я в долгу не останусь...

Данила в тот вечер мордушку⁵ из ивовых прутьев ладил, каши уже сварил для прикорма и собирался с утра на озеро: карась, как дурной, стеной ломился. Но притащилась, на закате уже, Митрофановна и принялась уговаривать, чтобы сходил он завтра в Медвежий лог с ягодицами, потому как сильно боязно им одним. Три дня назад пошли – а там медведь хозяйничает, тоже любит сладким полакомиться. Как рыкнул, так иные бабы и девки ведра в логу побросали, а до деревни, с визгом, летели, как весенние ласточки.

– Посидел бы со своим ружьем, покараулил бы нас, оборонил, коли он, растреклятый, явится, – зудела и зудела Митрофановна – хуже комара, от которого сколько ни отмахивайся, а он всегда рядом, – С нашего околотку все девки пойдут – может, какую выглядишь. На вечерки-то, сказывают, ты не ходишь, оно и понятно дело – какое веселье, когда самого себя поить-кормить надо. Сиротское житье известное – чужие люди не озаботятся...

Старухины причитания Даниле – как острый нож по сердцу. Не любил он, когда ему в душу лезли, когда его сиротство трогали. Что он, убогий какой?! Да он в деревне – самый знатный охотник. И соболя бьет, и белку, и на медведя ходит. К нему вон даже господа из самого города Белоярска на охоту приезжают – хвалят, не нахвалятся. С десяти лет, как мать-покойница занемогла и обезножела, он от тайги кормится и знает ее, как свою махонькую избушку – до последнего закутка. В тайге хорошо: там людей нет. А людей в деревне Данила сторонился – все подвоха от них ожидал, насмешек, потому и не дружил ни с кем, в гости и на вечерки не ходил.

За серьезного, самостоятельного мужика сам себя считал Данила. Вот поэтому не сдержался и буркнул сердито:

– Да отодвинься ты, Митрофановна! Ненароком глаз выколю, прутья-то вон как гибкие!
– Господь с тобой, Данюшка, куда я без глазу-то!

А сама мостится, мостится на лавке поближе и зудит, зудит про свое: посидел бы с ружьем, покараулил... Сердитым голосом ее не остановишь, она и не таких сердитых улещала-уговаривала, не зря считается первой свахой в Успенке, а еще она и лекарка, и повитуха...

Да чтоб ты, старая, язык проглотила!

Куда там!

– Я уж скажу всем – пускай тебе ягодок понемногу отсыпят. Сам полакомишься, самому радость будет...

Измором взяла. Да и мордушка получалась кривая-косая – а какой она иной будет, если под руку с уговорами лезут? В конце концов отложил Данила нужное дело в сторону и к великой радости Митрофановны пообещал:

– Ладно, схожу я завтра, только собирайтесь пораньше, ждать никого не стану. Если будете до обеда чухаться...

– Да мы до солнышка все тут, возле тебя, родимый, – снова запела Митрофановна, но Данила ее уже не слышал – ушел в избушку.

⁵ Мордушка – рыболовная снасть, сплетенная из тонких прутьев.

Рано утром собралась цветастая и громогласная гурьба молодых баб и девок – все с ведрами, с корзинами. И нарядные – будто их на праздничную гулянку позвали. Гомонят, хохочут, вот-вот песню затянут. Данила исподлобья глянул на них, на Митрофановну и молча, про себя, старой карге все высказал: и день пропал, и рыбалка ахнулась, а теперь еще и топать до Медвежьего лога да торчать там без дела, как одинокому гусаку посреди бабьего стада – вот знатное занятие! Но деваться некуда, назвался груздем – прыгай в кузов! Приладил половчее заплечный мешок, ружье на плечо закинул и молча пошел по дороге, оставлял за собой на песке крупные следы. Ягодницы, не отставая, дружно двинулись за ним, по-прежнему смеясь и гомоня. О чем они там гомонили, Данила не слушал – о своем думал: вечером надо будет мордушку доделать, а уж завтра – на озеро. Порыбалит недельку, а там и в тайгу пора собираться, к зиме готовиться. Прошлым летом Данила срубил избушку на дальней таежной речке, теперь хотел заготовить дров, чтобы они к зиме высохли, и сложить добрую печку, прежняя не удалась: и топилась плохо, и угарная была. Кирпича бы хорошего, да как его доставишь? На себе в такую даль много не унесешь, лошади нет, а идти и просить у кого-то... Да ну ее, канитель эту! Лучше глины накопать побольше да намешать покруче. Но дальше думать про хозяйственные дела Даниле не позволили. Девки, как с глузду съехали, взялись над ним озорничать и насмеяться, а больше всех – Анна Ключихина. Голос у нее сильный, звонкий – не хочешь, а услышишь:

– Митрофановна, а, Митрофановна! А почему наш караульщик ни с кем не поздоровался? Нашел – молчит и потерял – молчит! Может, он немой у нас?

– Да нет, – бойко подхватила ее подружка, Зинка Осокина, – он важный! У него, говорят, в городе краля имеется, потому и на вечерки не ходит!

– Ой, слыхала я про эту кралю! Красоты, говорят, неопикуемой – одно ухо дошпечкой заколочено, из другого белена растет, в каждом глазу по два бельма, а на личике черти горох молотили!

И пошло, и поехало!

Дальше – больше!

Давай Анна частушки отрывать, как лоскуты от рубахи:

Ты Данила, ты Данила,
Разве мы тебе не милы?
Поцелуем в щечку, в нос,
Городскую свою брось!

Бедный Данила от такого разгульного напора только шагу прибавлял и молчал намертво. А в спину ему несло:

Сидит Даня на крыльце
С выраженьем на лице,
А симпатичное лицо
Закрывает все крыльцо!

Уши у Данилы уже в малиновый цвет окрасились. Митрофановна сжалилась над парнем, пошумела на расходившихся девок, и они притихли. Да и дорога пошла не по ровному полю, а по высокому увалу, на макушку которого, чтобы спуститься в лог, еще подняться надо. Хоть и налегке шли, а все равно запыхались, не до частушек стало. Данила, злясь на девок, а больше всего на Анну Ключихину, путь выбирал посреди самого неудобья и кочкарника – пускай здесь веселятся! Припотели ягодницы, пока до Медвежьего лога добрались. Вот он, внизу, неглубокий, извилистый, а склоны густо поросли малиной. Данила спустился, прошел до самого

истока и впрямь нашел медвежьи следы – лакомился здесь косолапый. А вон недалеко и ведро валяется. Прихватил с собой, поднялся наверх, выставил ведро перед девками:

– Чья посудина? Забирайте.

Оказалось, что ведро в прошлый раз Анна бросила. Подошла, гибко изогнувшись, ухватывая рукой железную дужку, и будто замерла на время, устремив снизу взгляд на Данилу. И столько в этом взгляде ласки было! Но Данила, ожидая новой насмешки или обидной частушки, даже и не глянул на Анну, развернулся молчком и двинулся в тенек высокой сосны, откуда весь Медвежий лог виден был, как на ладони. Ружье скинул, мешок – под голову, чтобы удобней лежать было, и взялся нести свою караульную службу, чтоб ей, вместе с Митрофановой, ни дна и ни покрывки.

Бабы и девки рассыпались по склону лога, начали брать ягоды – сразу двумя руками, будто коров доили. Время от времени перекликались, опасливо оглядываясь по сторонам. Звякали ведра.

А ягоды было – красным-красно!

Данила полежал-полежал, скучно ему стало. Вытащил из мешка ломоть хлеба, ружье – за плечо, спустился вниз и принялся вприкуску наворачивать малину. А она и впрямь, как Митрофановна говорила, сама во рту тает. Обобрал с одного куста, подвинулся к другому и видит – спиной к нему стоит Анна Ключихина. Ягоду берет быстро, сноровисто, только руки мелькают. И что с Данилой сделалось, какая его нелегкая подтолкнула – он и сам не понял. Подкрался неслышно и – ткнул двумя пальцами в крутые бока, а на ухо негромко:

– Гах!

Анна вскинулась, едва не опрокинув ведро, и тяжело обвалилась ему прямо на руки. Данила стиснул ее, чтобы удержать, и ощутил ладонями, будто за горячие угли схватился, трепетные, упругие груди под тонкой кофтой. Перехватил еще крепче, развернул к себе и хотел уже звать на помощь Митрофановну, но Анна распахнула зажмуренные глаза и зашептала, едва слышно:

– Зачем ты, Даня, меня так пугаешь? Меня не надо пугать, меня любить надо... Как я тебя люблю... Думаю про тебя днем и ночью, а ты мимо и мимо – не в тайге, так на озере. Мы с Зинкой на святки на воске гадали – мне ты выпал. Как вылитый, а за спиной – ружье...

Вдруг зашуршали неподалеку кусты, звонкий голос позвал:

– Аня, ты где?

И они отпрянули друг от друга.

Согнувшись, Данила воровато скользнул за кусты и медленно, покачиваясь, как пьяный, вернулся на прежнее место возле сосны. И больше уже не сдвинулся, пока не огрузились ягодуницы малиной по самые края своих посуды.

В деревню возвращались медленно, с двумя отдыхами, но гомонили и смеялись по-прежнему. Только Анна Ключихина молчала.

Вот с того дня и завязалась веревочка, затянулась крепким узелком – не развязать.

Два месяца встречались они тайком и украдкой. Льнула Анна к Даниле, как шелковая ленточка к стене льнет, а он, словно опьянев в памятный день в Медвеьем логу, так и не трезвел. В тайгу не ходил, про избушку свою не вспоминал, а недоделанная мордушка, расшавив высохшие прутья, валялась под лавкой.

Через два месяца Данила пошел на поклон к Митрофановне – помощи просить в сватовстве. Старуха выслушала его и наотрез отказалась:

– Ты уж прости, Даня, да только пособить я тебе ничем не пособлю. Не по себе дерево рубить взялся. Ни за какие коврижки не отдаст Артемий Семеныч за тебя Анну. Не рви зазря сердце, откажись, найди себе другу зазнобу.

Ну, уж нет, другая ему была не нужна. Он твердо знал: без Анны ему не жизнь. И свататься пошел один. Да не в добрый час, видно.

А наступит ли он, добрый час?

Данила поднялся с топчана, попил холодной воды из кадушки и самому себе ответил: нет, не наступит. Значит, по-иному будет, без сватовства.

Не прошло и недели, как ночью во дворе у Клочихиных взлаяли кобели...

5

К утру подморозило. На остывшей сентябрьской земле вызрел мохнатый иней. Трава, оканная серебром, заискрилась летучими блестками, и они проредили темноту до зыбкого голубоватого света. Срезая долгий изгиб дороги, Артемий Семеныч гнал коня прямо через луг. Сыновья, не отставая, попевали следом. Конские копыта раскалывали тишину глухим топотом, сбивали иней с травы и прошивали белое полотно луга тремя темными строчками.

Вот и дорога. Выскочив на нее, Артемий Семеныч пустил коня во весь мах. «Здесь они должны быть, больше некуда. Только бы догнать!» – и сердце обливалось холодной злобой. Он так рассчитал: от Успенки расходится несколько дорог – на пашню, на дальние сенокосные луга, в тайгу, к изножью Кедрового кряжа, и в город Белоярск. Идти в тайгу, на пашню или в луга беглецам никакого резона не было: холодно уже по ночам, под кустом ночевать не станешь. Поэтому оставался им только один путь – в Белоярск, мимо трех деревень, где всегда можно нанять подводу.

Скорей, скорей! Плетка в руке Артемия Семеныча не знала простоя. Конь летел. В ушах свист стоял от встречного воздуха. Но чем дальше продвигались в стремительной скачке, тем меньше у Артемия Семеныча оставалось уверенности – не могли беглецы за столь малое время так далеко уйти.

– Тятя! – подал голос Никита. – погоди, тятя!

Артемий Семеныч придержал коня, перевел его на шаг, обернулся к сыну:

– Ну? Чего?

– Погоди, тятя... Глянь на дорогу, ни единого следа нету. Давай спешимся, а то гоним и гоним – без ума...

Спешились.

Уже начинало светать, и было хорошо видно, что на пустынной дороге, на влажном от заморозка песке, – не тронута. Ни человеческой ногой, ни звериной лапой. Не было здесь никого ночью. Не проходили, не проезжали и не проскакивали. Ясно стало, что гнать по-пустому, без всякого толку, можно хоть до самого Белоярска. Артемий Семеныч в сердцах даже ногой топнул, ругнулся молчком и легко вскочил в седло. Развернул коня, поехал неспешной рысью. «В округе где-то затаился, гаденьш; смикитил, что на дороге мы его прижмем. Ладно, поглядим...» – мысленно грозился Артемий Семеныч, а сам понимал, что найти беглецов, если по всей округе шарить, дело безнадежное. Не будешь ведь на розыски всю деревню поднимать, а если втроем искать – им этого заделья как раз до морковкиного заговенья хватит.

Восточный склон темного неба светлел. Поднималась вверх от земли легкая просинь, а следом за ней – розовая полоска зари. Кончилась беспокойная ночь, наступал день, и что он с собой принесет – не известно. Покачивался в седле Артемий Семеныч, печально смотрел на зарю, нисколько ей не радуясь, и владела им, одолев разом, безмерная усталость. Хотелось сползти с седла, лечь прямо на землю и уснуть, чтобы ничего не видеть и ни о чем не думать.

Да только рано он спать собрался...

По правую руку потянулась широкая елань⁶, огражденная с трех сторон старыми соснами. Хлеб на ней убрали, и теперь густое жнивье стояло в инее. Вдали высилась большая скирда соломы. Артемий Семеныч скользнул взглядом по жнивью, поднял глаза и встрепенулся: над узкой макушкой скирды струился жиденький, едва различимый дым. Взмахнул рукой, подзывая сыновей, молча указал: видите? Никита с Игнатом кивнули, понимая его без слов, разделились и тронулись вперед, один с правой стороны, другой – с левой. Сам Артемий Семеныч, выждав, когда достигнут они краев елани, поехал прямо, целясь на стог, над которым все гуще

⁶ Елань – поле, пашня посреди леса.

поднимался дым костра. «Не пахал, не сеял, а жгет чужое, как свое!» – и сердце снова окатило злобой.

Оставалось до скирды совсем немного, шагов тридцать-сорок, когда прогремел навстречу выстрел. Пуля сшибла картуз с кудрявой головы Артемия Семеныча. Сам он кубарем слетел с коня, распластался на белом жнивье. Рвал из-за спины ружье, а оно никак не поддавалось, тогда дернул изо всей силы за ремень, в кровь ободрал ухо, взвел курок и отполз в сторону, в махонькую ложбинку. И снова – выстрел. Гулкий, раскатистый. Мелкой холодной землей брызнуло в лицо – меткий был стрелок. Артемий Семеныч мазнул по глазам ладонью, стирая грязь, и только теперь до него дошло: не Анна это, не Данила Шайдуров, а лихие люди, на которых дуриком наскочили. Чуть приподнял голову, увидел темную фигуру, которая металась меж ближними соснами, прицелился и выстрелил. Протяжный, по-заячьи тонкий крик взвился в ответ. Темная фигура кинулась в глубь старых сосен, но слева уже подлетел Никита, сиганул прямо с седла и подмял под себя.

Артемий Семеныч лихорадочно перезаряжал ружье. И в это самое мгновение стрелой выкинулся из-за скирды серый конь в яблоках. Густая грива полоскалась в холодном воздухе, как бабья шаль. Не показывая лица, к гриве вплотную прилегал всадник, правую руку держал на отлете, сжимая ружье. Игнат развернул своего коня и кинулся вдогон.

– Стой! Стой, дурак! – закричал Артемий Семеныч. Но Игнат или не услышал его, или не захотел услышать, опаленный азартом погони. Рисковал парень. Спешится сейчас всадник за ближними деревьями, выждет момент да и грохнет в упор. Но поздно было останавливать Игната – уже не докричишься.

Артемий Семеныч вскочил на ноги. Бросился к Никите, который барахтался на земле. Подскочил, выставив ствол ружья, готовый без раздумий нажать на курок. Но стрелять не потребовалось. Никита поднялся и потерянно растопырил руки:

– Тятя, это ж... Это ж – ба-ба...

Круглыми от ужаса глазами смотрела на Артемия Семеныча совсем еще молоденькая девка. Она упиралась руками в землю, скоблила по траве каблучками высоких ботинок с красненькими шнурками, пытаясь отползти. Пальцы правой руки окрашивались кровью. «Выходит, я в плечо ее зацепил, слава Богу, не до смерти!» – успел еще подумать Артемий Семеныч, прежде чем удивился до онемения. Продолжая скоблить по траве каблучками, сверкая темными глазищами, девка вдруг быстро-быстро заговорила:

– Ne me tuez pas, avez pitié pour moi, au nom de tous les sacrés! Ne me tuez pas, avez pitié pitié ma jeunesse! Chez moi rien, que on peut voler! Avez pitié, messieurs gentils! Le dieu n'oubliera pas votre miséricorde!⁷

Крупные слезы скатывались у нее по щекам и пропадали в траве, губы дрожали, под темным платьем с глухим воротом рывками вздымалась грудь. Валялись рядом шляпа с темной вуалью и меховая накидка, измазанная в земле.

– Чего она лопочет, тятя? По-каковски?

– Да уж не по-русски – ясное дело. Придержи ее, рану-то перемотать надо. Погоди, может, поймет, – он шагнул ближе, наклонился: – Ты чья, девка? Откуда?

– Il ne me faut pas tuer! Il ne faut pas!⁸

– Не понимает она, тятя, по-нашему – вот чудеса-то в решете!

– Чудеса не чудеса, а вляпались мы обеими ногами, как в коровью лепеху. Держи ее.

Артемий Семеныч потянул из самодельных ножен на ремне охотничий нож – длинный, острый, на ловкой костяной ручке. Шагнул еще ближе к девке. Увидев нож, она коротко визг-

⁷ Не убивайте меня, сжальтесь надо мной, ради всего святого! Не убивайте, пожалейте мою молодость! У меня ничего нет, чтобы меня ограбить! Сжальтесь, милые господа! Бог не забудет вашего милосердия! (Фр.)

⁸ Не надо меня убивать! Не надо! (Фр.)

нула и медленно, запрокидывая назад голову, обвалилась на спину. Никита замер, не зная, что делать.

– Обмороком ее стукнуло, оклемается. Держи, чтоб не трепыхалась.

Артемий Семеныч ловко распорол рукав платья, обнажил нежное девичье плечо, разглядел: три картечины саданули. Одна навyleт, а две – застряли. Слава тебе, Господи, дело не смертельное. Выпростал свою нижнюю рубаху, отпластнул ножом лоскут от подола, перемотал рану. Скинул с себя шабур⁹, свернул его и сунул девке под голову – пускай полежит, в себя придет. А сам, в тревоге, выскочил на край елани, выглядывая Игната – как бы беды с парнем не приключилось. И вздохнул облегченно, когда увидел сына невредимым. Игнат подъехал, соскочил с седла и с досадой известил:

– Ушел, варнак! Ну, конь у него, зверь, а не конь!

– А если б он за деревом тебя подождал да шмякнул?! Куда без ума полетел?!

– Не, тятя, я ж его видел. А как он с глаз канул, я и повернул обратно. Чего тут у вас?

– У нас тут, братчик, ого-го! – с натужным смешком отозвался Никита. – Иди полюбуйся, какую я добычу стреножил.

Сыновья еще о чем-то переговаривались, стоя над девкой и разглядывая ее, но Артемий Семеныч не слушал. Его теперь не сама девка беспокоила, а иное: чего с ней делать? Это ж по властям рассказывать-объяснять придется, а что она за птица и какого полета – не известно. Здесь оставить, чтоб докуки не было? А с другой стороны – жалко, не зверек же. Совсем еще молоденькая...

И каким дурным ветром занесло ее сюда из чужих земель, и кто такой лихой всадник, ловко ускользнувший от них?

Долго думать Артемий Семеныч не любил. Вскочил в седло, уселся удобней, расправил поводья и сурово прикрикнул на сыновей:

– Хватит лясы разводить! Подавай ее ко мне, домой повезем, там разберемся!

Когда Агафья Ивановна открыла ворота и тихонько ойкнула, увидя девку, Артемий Семеныч, опережая ненужные расспросы, известил:

– Нову дочь тебе привез, сменял без доплаты...

Он и над самим собой мог иногда усмехнуться.

⁹ Шабур – домотканая верхняя одежда.

6

Митрофановна с утра хлопотала у печки, гремела чугушками и стук в двери не расслышала, а когда они распахнулись и на пороге встал Артемий Семеныч, у старухи ухват из рук вывалился, сама она вздрогнула и попятилась в угол, прижимая к груди морщинистые руки, будто хотела оборониться.

– Как, хозяйка, спала-почивала? – Артемий Семеныч вышагнул из дверного проема, выпрямился во весь свой рост. – По твою душу пришел...

Митрофановна, рук от груди не отнимая, тихо села на лавку; видно было, что ноги ее не держат. Дряблые щеки дрожали, как плохо застывший холодец.

– Никак напугалась? – добродушно спросил Артемий Семеныч. – А я стучал. Глуховата, однако, стала – не слышишь. Я по делу, Митрофановна, по твоему делу, по лекарскому. Собирайся, пойдем, попользовать надо одного человека. Давай-давай, поживей, я тебя за оградой подожду.

Он вышел, а Митрофановна, разомкнув руки, истово перекрестилась, мухой слетела с лавки, схватила кошелку со своими лекарскими принадлежностями и выскочила на улицу, словно молодуха, которую кликнули на свиданье.

– Напужал ты меня, Семеныч, – тараторила старая, пытаясь мелким, семенящим прискоком попасть в лад широкому шагу Клочихина. – Загорюнилась про свое житье вдовье, а ты раз – на пороге, аж жилочки все вздрогнули...

– Ты, Митрофановна, про жилочки бабе моей расскажешь, а теперь меня слушай: чего увидишь в моем доме, по деревне про это не звони. Я сам скажу. Уразумела? А то знаю вас, языкастых, – по всей округе разнесете. Не видела, не слышала, не знаю, ни сном ни духом – вот весь сказ.

– Да ты о чем говоришь-то, Семеныч? Я в ум не возьму!

– Придем – увидишь. А наказ мой – помни. Два раза втолковывать не стану.

Артемий Семеныч, ошарашенный событиями, которые свалились на него за сегодняшнюю ночь и сегодняшнее утро, был рассеян и утратил свою обычную наблюдательность. Иначе бы он задумался: по какой это причине Митрофановна перепугалась? Задрожала, как последний листок на осине. Подумаешь, невидаль – стук она не расслышала, хитрая, битая баба! Но было ему сейчас совсем не до тонкостей. А Митрофановна, стараясь не отстать от него, мысленно молилась: «Царица Небесная, помилуй меня, грешную, отведи ему взгляд от моей избенки, пусть бы и дальше не ведал!»

Не зря молилась Митрофановна. Узнай сейчас про ее тайну Артемий Семеныч – быть бы ей битой прямо посреди улицы. Уж волосенки на голове он бы точно ей проредил.

Тайна же заключалась в том, что с нынешней ночи в избе у Митрофановны, на второй половине, появились новые жильцы – Данила Шайдуров с Анной Клочихиной. Уж как она отнекивалась-отбивалась и не желала приютить у себя убежавших жениха с невестой, ссылаясь на сотню самых разных причин, а больше всего – на суровый нрав Артемия Семеныча, – ничего не помогло. Уговорил ее Данила; правда, не только словами уговаривал, но и денежками. А денежки Митрофановна любила. Вот и не устояла. Ночью открыла двери молодым и провела их на вторую половину, где с вечера еще застелила широкую деревянную кровать.

И досталось же этой кровати! До самого утра скрипела она и охала, без перерыва, словно живая. У Митрофановны сон пропал, она лишь мелко крестилась и приговаривала:

– Да тише вы, оглашенные, всю деревню перебулгачите!

Утихомирились молодые и затихли, когда уже солнышко поднялось. Митрофановна затопила печь, принялась хозяйничать, а нелегкая и принесла Артемия Семеныча – как тут не взмолишься со страху Царице Небесной, испрашивая милости и заступничества!

Вот и дом клочихинский – крепкий, ладный, как и сам хозяин. Двор широкий, просторный. К амбарам, к конюшне, к скотному двору и крыльцу ведут деревянные настилы – не надо грязь месить в гибкую непогоду. Вся усадьба обнесена глухим заплотом. За ним – рослые лохматые кобели, которые днем сидят на коротких железных цепях, а по ночам отпускаются на волю. Непрошенных гостей здесь не жалуют.

На окне отдернулась цветастая занавеска, мелькнуло испуганное лицо Агафьи Ивановны.

– Ступай в дом, – Артемий Семеныч показал Митрофановне рукой на крыльцо, словно боялся, что она заблудится и пойдет не туда, куда надобно. – Баба моя все тебе расскажет. А что я говорил – помни накрепко.

Охая, Митрофановна начала взбираться на высокое крыльцо. Артемий Семеныч проводил ее взглядом, подождал, когда она войдет в сени, и лишь после этого направился к конюшне. Пробыл он там недолго. Скоро вывел двух коней, на которых были только одни хомуты, в руке держал два мотка толстых веревок. Опять мелькнуло в окне по-прежнему испуганное лицо Агафьи Ивановны, она попыталась даже какой-то знак подать супругу, но Артемий Семеныч лишь головой мотнул, отвернулся от окна и вышел, ведя за собой коней под уздцы, на улицу.

Твердо шагая по пыльной дороге, не глядя по сторонам, он миновал деревню и остановился возле избышки Данилы Шайдурова. Похмыкал, оглядывая ее, затем откинул палочку, которая подпирала дверь, вошел внутрь, низко сгибая голову, чтобы не удариться о притолоку. Солнце к этому времени поднялось на полную высоту и весело ломилось в два низеньких оконца. В избышке было светло, и хорошо виделось ее бедное убранство: деревянный топчан, застеленный лоскутным одеялом, шкафчик на стене, широкая лавка, кадушка с водой, давно не беленая печь в трещинах, а в переднем углу – божница с одной-единственной иконой Николы-угодника. Артемий Семеныч степенно перекрестился, бережно снял икону с божницы и вынес ее на улицу, положил в пожухлую траву. Вернулся в избышку, легко подхватил с пола широкую лавку и в два замаха высадил стекла в окошках вместе со старыми рамами. Также неспешно и сноровисто, как делал он любую работу по хозяйству, Артемий Семеныч вышиб подпорки у стены, завел веревки, цепляя простенок между окнами, концы веревок привязал к хомутам, понужнул коней. Кони грудью навалились на хомуты, веревки натянулись, и простенок выскочил, рассыпаясь на отдельные бревна, взметнул густую пыль. Избушка, оставшаяся без подпорок и почти без одной стены, по-стариковски покряхтела и медленно завалилась на один бок. Крыша съехала и развалилась. Груда старого черного дерева лежала теперь на месте бывшего жилища строптивного суразенка.

Артемий Семеныч смотал веревки, поднял с травы икону Николы-угодника и направился домой, ведя следом за собой коней, которые послушно стучали копытами в пыльную землю и недоуменно поматывали головами: да зачем они такую работу сделали, совсем необычную? Словно отвечая им, Артемий Семеныч едва слышно высказался:

– Вот и ладно. Хоть так душу отвел.

7

Данила с Анной еще ничего не знали. Да и знать не желали. У них иная была забота, одна-разъединственная: любить друг друга, ничего не видя и не слыша, до полного беспамятства. Решившись на побег и свершив его, они одним махом все перегородки, какие раньше их сдерживали, напрочь переломали. Даже в коротком сне, сморившем их под утро, не размыкали рук, не желая и на малое время разъединиться горячими телами.

Проснулись же они одновременно. Долго смотрели друг на друга слегка ошалелыми глазами, затем засмеялись, счастливые, и Данила еще неловко, но уже по-хозяйски подгрел под себя Анну, и она послушно поддалась ему, распластываясь на широком ложе, ощущая томительную истому, которая скатывалась жарким клубком по спине – вниз. И вздрагивала, распахинаясь навстречу, выгибалась, выпуская на волю сладкий и долгий стон – опустошала себя до самого доньшка. Ничего не жаль было, все полной мерой, без краев и без берегов.

А после лежала, остывая, вольно раскинув руки по матрасу, набитому свежей соломой, смотрела вверх остановившимися глазами и ничего не видела, кроме зыбкого марева. Данила запаленно дышал и прижимался щекой к мягкому плечу Анны, не в силах вымолвить и одного слова.

В эту сладкую минуту стукнула в двери, закрытые изнутри на крючок, Митрофановна и тревожным голосом окликнула:

– Эй вы, сизы голуби, живые?

– Случилось чего? – отозвался Данила, отрывая голову от теплой подушки.

– Случилось. Вылезайте, хватит беса тешить. Орете, как под ножом, на дальних покосах слышно...

Анна заелела стыдливым румянцем, вскочила с кровати, начала одеваться и причесывать волосы. По привычке взялась заплетать косу и руки опустила: не по обычаю. Прощай, коса девичья, одна лишь память о тебе осталась. Волосы прибрала по-бабьи и сверху платок повязала – новую жизнь начала, замужнюю.

Митрофановна между тем все двери на крючки позакрывала, занавески на окнах задернула и лишь после этого принялась подавать на стол. За поздним завтраком, время от времени испуганно оглядываясь, она выложила молодым все новости: как Артемий Семеныч к ней приходил, напугав ее до дрожи в коленках; как он избушку Данилы развалил, а дома грозился Агафье Ивановне, что от дочери он теперь напрочь отказывается и знать ее не желает. Про девчужестранку, которой она выковыряла картечины из плеча, а рану смазала лечебной мазью и перевязала, Митрофановна ни слова не промолвила, крепко помня суровый наказ старшего Ключихина. Помолчала после длинной речи, пошлепала сизыми старческими губами, оглядела молодых, словно впервые их перед собой видела, и дальше заговорила совсем иным тоном:

– Боязно, ребятки, мне прятать вас. Я вдова сирая, бесправная, заступиться за меня некому. Проведает Артемий Семеныч, где вы укрываетесь, он и вам вязы посворачиват, и меня достанет-приголубит. А мне, грешной, на белый свет любоваться не надоело. Не обессудьте, ребятки, а вот мое условие: денек еще поживите, а ночью ступайте с Богом.

Анна сникла над чашкой, и одинокая слеза беззвучно капнула в пшеничную кашу, заправленную топленным молоком. Надеялась все-таки отчаянная девка, убогом покидая родительский дом, на иную судьбу, более складную: отсидеться у Митрофановны недельку-другую, а после бухнуться на колени перед родителями и вымаливать прощенье, пока не оттаит отцовское сердце. Построжатся, как водится, постегают плеткой для порядка, а все равно – простят, родная же кровь. Не вышло. Если уж сказал отец, что напрочь отказывается от дочери, слово свое будет держать твердо: характер тятин Анна распрекрасно знала. Потому и пригорюнилась.

Данила, наоборот, был готов к такому раскладу – даже и не мечтал в скором времени помириться со своим суровым и неуступчивым тестем. Он покидал родную избушку, собрав небогатый скарб в заплечный мешок, ясно понимая, что вернется сюда не скоро, а может так стать, что не вернется никогда. Поэтому сильно не горевал. Быстро доел кашу, облизал деревянную ложку и со стуком положил ее на стол. Не глядя на Митрофановну, глухо буркнул:

– Да не трясись ты, старая, уйдем седни ночью.

Ухватил Анну за руку и повел ее за собой, послушную, на вторую половину. Прихлопнул за собой дверь, крючок накиннул и еще раз повторил:

– Седни ночью уйдем.

Помолчал, взглядываясь в лицо Анны, спросил:

– Не боишься?

Она подняла чудные свои глаза, в которых уже высохли слезы, и блеснули в них озорство и отчаянность первой деревенской певуньи и плясуньи в девичьем хороводе:

– Я, Даня, за тобой – хоть в омут головой! Только покажи, где омут. Утоплюсь и не поморщусь!

Приятно было Даниле слышать эти слова, будто теплой волной окатывало сердце, но вида он не показывал, хмурил брови:

– Погоди топиться-то, рано... Я так решил: в Белоярск тронемся, есть у меня там знакомец. На охоту приезжал, зазывал к себе, да я тогда отнекался. Вот, погляди...

Он развязал свой заплечный мешок, пошарился в нем и вытащил твердую лощеную бумажку, махонькую, на половину ладони. Протянул ее Анне. Шевеля губами, складывая по слогам золотом тисненные буквы, она прочитала вслух:

– Луканин Захар Евграфович, купец первой гильдии. Имеет казенные и частные подряды, а также операции: транспортные, пароходные, комиссионные и вообще всякого рода коммерческих предприятий. Главная контора в Белоярске. Вознесенская гора, в собственном доме. Для телеграмм: Белоярск, Луканину.

8

– Позвольте, уважаемые господа, провозгласить тост в честь дорогого именинника – Захара Евграфовича Луканина, замечательного гражданина нашего богоспасаемого Белоярска! Я мог бы долго перечислять все его достоинства и добродетели, но думаю, что в этом нет нужды – вы все прекрасно знаете славные заслуги Захара Евграфовича. Поэтому буду краток. Многая лета!

Городской голова Илья Васильевич Буранов победно оглядел гостей за длинным столом, подтянул круглый животик под крахмальной манишкой, по-молодецки расправил плечи и одним махом осушил фужер с шампанским. Зазвенел хрусталь. Хор многогласно грянул «Многая лета!», да так громко и мощно, что напрочь заглушил все иные звуки – будто могучая волна ворвалась в просторную, сверкающую залу.

Гости, – а было их ровно полторы сотни – весь цвет белоярского общества, – ошарашенно замерли, пораженные до изумления пением хора. Такого в Белоярске еще никогда не слышали. Певцы в алых рубахах с золочеными поясами сливались в одну пламенную полосу, певицы в разноцветных сарафанах – словно июльский луг под ярким светом множества ламп; и голоса – стены гудели от их могучей волны. А когда волна схлынула и последние звуки замерли, хрустальные висюльки на люстрах долго еще рассыпали легкий, едва различимый звон.

– Ну, знаете ли, Захар Евграфович, не имею слов, чтобы высказать! – Буранов развел руками, поморгал маленькими глазками и восторженно поцокал языком. – Столь сладкого удовольствия мне и в московском «Яре» не подавали. Пользовался слухами, что на именинах ваших хор будет, который с Нижнего Новгорода, с тамошней ярмарки доставили, но чтобы такое чудо... Полагаю, не дешево обошлось?

– Да так, пустяки, Илья Васильевич, не дороже денег, – скромно улыбнулся именинник и поднялся из-за стола, чтобы держать ответное слово.

Был он высок, строен и красив, Захар Евграфович Луканин, в свои тридцать лет. Курчавая русая борода обрамляла загорелое лицо, по-девичьи большие карие глаза сияли, густые волосы слегка растрепались, и он время от времени встряхивал головой, откидывая их с широкого, чистого лба. Новенький фрак сидел, как влитой. Но больше всего красила Захара Евграфовича открытая, добродушная улыбка – такая милая, что невольно хотелось улыбнуться в ответ. Ему и улыбались, даже с самого дальнего края стола, и особенно – молодые барышни, чьи нежные сердца невольно замирали и улетали в дальнюю высь при одном только взгляде на красавца, похожего на сказочного молодца, нечаянно сошедшего с цветной картинки.

– Благодарю всех, кто почтил меня своим вниманием, благодарю за добрые слова, которые были высказаны в мой адрес... – Захар Евграфович помолчал, а затем улыбнулся и негромко, но так, что все услышали, пропел:

Я люблю белоярских друзей,
Всем желаю добра и успеха.
Ну-ка, друг, пополнее налей,
Чтоб плясать нам с тобой до рассвета...

Над огромным столом, как от ветерка, поднялся легкий шум:

- Браво! Молодец!
- Вот это по-нашему!
- Ай да Захар Евграфыч!
- Просто душака!

– Что ни говорите, господа, а нашему городу определенно повезло, что украшают его такие люди, как Луканин!

– За здоровье именинника!

Снова зазвенел хрусталь.

Официанты в белых перчатках, бесшумные, как тени, понесли новые блюда. Оркестр белярской пожарной команды ударил торжественный марш, а вскоре начались танцы.

Гости постарше потянулись из общей залы в кабинеты, где были расставлены столы для карточной игры, лежали курительные трубки и где можно было просто посидеть на диванах и креслах и мило поболтать о городских новостях, о сегодняшнем вечере и о том, что пишут в свежих столичных газетах, которые доходят сюда с большим опозданием.

Вокруг именинника – целая толпа. Он не успевает всем отвечать и улыбаться. Но вот, раздвигая щебечущих дам и штатских, внушая невольное уважение воинским мундиром и могучей фигурой, подошел подполковник Огороков, новый исправник, совсем недавно назначенный в Белярск и с местным обществом еще не вполне знакомый. При нем, как неотъемлемая принадлежность мундира, доставая чуть повыше локтя, – маленькая миловидная супруга, полненькая и беленькая, как сдобная, только что испеченная булочка.

– Захар Евграфович, – загудел басом Огороков, – позвольте засвидетельствовать свое уважение, поздравить с именинами и представить мою супругу – Нину Дмитриевну.

Именинник поцеловал пухлую ручку жены исправника, начал было говорить комплимент, но Нина Дмитриевна даже не дослушала его и – с места в карьер, играя шалыми глазами, выпалила:

– Голубчик, Захар Евграфович, я от любопытства стораю, хотя мы здесь люди новые, но я уже так много наслышана...

– Нина, подожди, нельзя же так... – зарокотал Огороков, пытаясь остановить свою бойкую супругу, но она лишь ручкой от него отмахнулась и продолжала строчить сорочьей скороговоркой:

– Мне так много рассказывали про ваш танец с медведями – уж не откажите в любезности! Это так романтично!

– Да я, знаете ли, извините меня...

– Ничего не знаю и не извиняю! Ну, Захар Евграфович, голубчик!

– Ни-и-на!

Еще один взмах ручкой в сторону супруга, и снова:

– А мне говорили, что вы никогда и ни в чем дамам не отказываете! Напрасно говорили?

– Но я же не могу в таком наряде, Нина Дмитриевна...

– А вам что, больше одеть нечего? У вас такой скудный гардероб? – еще беззастенчивей играла глазами Нина Дмитриевна, а полные губки так и вздрагивали.

– В таком случае, – Захар Евграфович улыбнулся и развел руками, – мое сопротивление сломлено. Прошу прощения, господа, я вас ненадолго покину.

Он ушел.

А когда вернулся, его было не узнать, словно вместе с одеждой поменялся и сам человек. Теперь на нем была просторная шелковая рубаха ослепительно-зеленого цвета, перехваченная наборным серебряным пояском, широкие брюки, вольно нависавшие над мягкими сапогами с низкими каблуками, опоясанными по изгибу тонкими, чуть загнутыми подковками. Но не в этом главное, а в другом – следа не осталось от прежней улыбочивости и добродушия. Взгляд – суров, сам сосредоточен, напряжен и прям, как солдатский штык. Вышел быстрым шагом на середину залы, остановился и досадливо поморщился: запаздывали работники, а он этого не любил.

Но они уже бежали сломя головы. Один нес черную шляпу с плоским верхом, второй – длинный узкий стакан с коньяком, а третий и четвертый тянули на веревках, привязанных к

ошейникам, медведей – Мишку и Машку, которые нынешней весной были доставлены из тайги и теперь проживали на усадьбе, пугая своим рыком собак, в отдельной загородке.

Гости дружно и боязливо отодвинулись к стенам. Зала в один миг стала как будто еще просторней. Работники отцепили веревки от ошейников, и медведи, недовольно поматывая головами, недобро поглядывая вокруг темными глазами, переступали лапами по паркету. В наступившей тишине хорошо слышался костяной постук когтей.

Захар Евграфович откинул со лба волосы, натянул на голову шляпу, выправил ее, держась за поля двумя руками, затем поставил сверху стакан с коньяком, подвигал его, устанавливая точно посередине, и плавно взмахнул рукой. Хор рванул, словно ринулся на санках с крутой горы:

Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои!

Медведи поднялись на задние лапы и, по-прежнему поматывая головами, принялись изображать нечто вроде кружения вокруг хозяина. А сам он, удерживая на голове стакан с коньяком, пошел в легком, невесомо-осторожном плясе, пристукивая подковками сапог по паркету. Взмахивал в такт руками, и широкие рукава рубахи бились и взметывались, словно зеленые крылья. Стакан с коньяком даже не колебался, будто его гвоздем приколотили.

А хор буйствовал, набирая скорость и силу, – так сани, рванувшись с обрыва, летят, как воздушные, не ведая никакого удержу. И Захар Евграфович не отставал, убыстряя свой пляс, по-прежнему легкий и невесомый. Медведи, словно подхватывая стремительно летящий напев, шлепнулись на передние лапы, и давай кувыркаться, издавая негромкое урчанье – недовольны были такой работой, да деваться некуда, приходилось исполнять приказание, отработывая сытую и щедрую кормежку.

Кончилась песня.

Захар Евграфович замер, чуть наклонил голову, стакан соскользнул со шляпы, и он перехватил его на лету, выпил коньяк мелкими глотками до дна и жажнул пустую посудину себе под ноги – только стеклянные брызги разлетелись по паркету!

Дивное было зрелище!

Гости хлопали, как в театре, не жалея ладоней. А супруга исправника, Нина Дмитриевна, подбежала, не боясь медведей, приподнялась на цыпочки и звонко чмокнула именинника в побледневшую от напряжения щеку.

Работники увели медведей, подмели с паркета стеклянное крошево – веселье буйно показилось своим ходом. Пел хор, гремел оркестр, танцы не прекращались, а когда ступили за окнами сумерки, в темное сентябрьское небо взвился яркий фейерверк. Разноцветные дуги, распарывая темноту, скрещивались, разлетались, рассыпались на мелкие огоньки, и после них в глазах долго еще оставался искрящийся свет.

Разъехались гости глубоко за полночь.

Захар Евграфович разогнал прислугу, которая собралась наводить порядок, приказав ей оставить все на утро; остался один в огромной и пустой зале, сел во главе длинного разоренного стола и задумался, глядя перед собой усталыми, слегка хмельными глазами.

За спиной послышались быстрые шаги. Не оборачиваясь, он ласково спросил:

– Ксюша, ты?

Это была его старшая сестра, Ксения Евграфовна. Подошла, положила руки на плечи брату, поцеловала, как маленького ребенка, в маковку и с тихой укоризной вздохнула:

– Натешился, отвел душеньку... И зачем тебе эти представления, какой в них прок – не могу понять. Все как мальчишка. Жениться тебе пора, Захарушка...

– Жениться не напасть, как бы жениться да не пропасть, а жена, Ксюша, не балалайка: поиграв, на стену не повесишь.

– Ну вот, опять у нас одни шуточки.

– А ты опять даже к гостям не вышла, пришлось мне врать, что больная.

– Не велик грех, Бог простит. Ты же знаешь, не могу я такое многолюдье переносить, у меня голова болит. Да и не по душе мне все твои пышности, уж прости...

– Сядь, Ксюша, посиди. Смутно мне, давно уже смутно, будто какого несчастья ожидаю, а какого – понять не могу. Тятя ночью снился, вместе с маменькой. Будто она меня убаюкивает, и он тут стоит...

Ксения Евграфовна присела рядом с братом, обняла его, тихо стала приговаривать:

– Завтра молебен закажу, за упокой родителей, и сама помолюсь за них, а ты про несчастье не думай. Будешь думать – и впрямь накликаешь. Ой, горе ты мое... Давай я тебе песенку спою. – И она запела, глядя его тонкой ладонью по волосам: – Ой, ду-ду-ду-ду, сидит ворон на дубу, он играет во трубу, во серебряную...

9

Ревел безутешно, в два ручья уливаясь, маленький Захарка, когда видел, что Ксюха хочет оставить его одного в избе, а сама наострилась убежать к подружкам. Никаких заманчивых посулов не желал слышать и так орал, сердешный, будто с него черти лыко драли.

– Ой, горе ты мое, – подражая матери, сердилась Ксюха, – навязалось на мою бедную головушку! Ладно, не реви, лезь на закурочки!

Крик малого обрывался, как срезанный. Мигом высыхали слезы. Он ловко вскарабкался на спину сестре, она подхватывала его руками под коленки и тащила на себе в поле, на речку, на полянку недалеко от дома, где всегда играли ребятишки.

Вот так и вынынчила на своей спине. И еще долгое время Захар называл сестру не по имени, а нянькой.

Жили Луканины в большом селе Раздольном, которое стояло прямо на тракте. Жили небогато, но и не голодали. Хозяин, Евграф Кононович, держал двух добрых коней, сеял рожь и пшеничку, пропадая с весны до осени на пашне, а зимой подряжался по найму в ямщики и мерил на своих подводах бесконечные версты тракта, протянувшегося через всю Сибирь. Супруга его, Таисья Ефимовна, колотилась по хозяйству и с ребятишками, ожидая мужа из дальних отъездов; была работяща, веселого нрава и никогда не унывала, на любую неурядицу в жизни имелся у нее в запасе легкий вздох:

– На все воля Божья.

Судьба Луканиных круто переломилась лет двадцать с лишним назад, в зиму, по-особенному злую на морозы и щедрую на снега. Метели буянили по неделям, наметывая сугробы выше человеческого роста, а затем, без всякого передыха, давил дикий мороз и сковывал влажный снег до ледяной крепости. Езда по тракту превращалась при такой погоде в настоящее мученье. Но деваться-то некуда, подрядился – вези. И тридцать две подводы, груженные китайским чаем, медленно двигались, одолевая сугробы, на знаменитую Ирбитскую ярмарку. Хозяин, купец Агапов, тащивший свой чай из далекой Кяхты, пребывал в великом волнении и тревоге: рушились у него сроки, согласно которым должен он быть на торгах в Ирбите. Сердился, шумел на ямщиков, на постоянных дворах вскакивал посреди ночи и самолично проверял сохранность тюков – извелся купец, до края. И всех, кто вокруг, извел и задергал до невозможности.

Но худо-бедно – ехали. А тут и погода снизошла – утихомирилась: метели в другие края откочевали, морозец при ясном солнышке играл небольшой, ровный. И дальше подводы бежали повеселее.

Евграф Луканин за долгий путь притомился, считал дни, когда этот путь закончится и можно будет повернуть коней до дома. В бане попариться, выспаться в тепле, винца попить в удовольствие, да и пошабашить с ямщиной на оставшуюся часть зимы – хватит, наездился. Но мечты его о скором отдыхе отравляли клопы, лишая сна, прямо-таки зверствовали подлые твари на очередном постоялом дворе. Устав крутиться с боку на бок и чесаться до крови, Евграф поднялся посреди ночи, выругался себе под нос и выбрался на улицу – дух перевести, а заодно и сена коням бросить.

Возы с чаем стояли вкруговую на широкой ограде постоялого двора. Проходя мимо них, Евграф услышал приглушенный говор, невольно прислушался и присел, изогнулся, как гвоздь, будто его сверху по голове обухом ахнули. И больше уже не шевелился, даже дыхание затаил. С другой стороны воза торопливый голос бубнил:

– Ставни на окнах я закрыл, двери сами подопрете... Никто не выскочит... Коней запрягайте и дуйте напрямиком к Кривой балке. Меня свяжете, здесь у крыльца бросите. Вот с купцом как? Два ружья у него и спать лег отдельно, в избушке. Клопов, говорит, у тебя на постоялом

много. Я и так и сяк, и задом об косяк, а он – ни в какую. В избушке теперь и два ружья при нем, сам видел...

– Не бойсь, в ножи возьмем твоего купца – не пикнет.

– Главное, чтоб в балке вы до света были. Возы спрятать, и шито-крыто, сидите тихо.

Меня ждите.

«Чаерезы! – как опалило Евграфа. – и хозяин постоялого с ними в сговоре!»

Чаерезами звали лихих людей, которые промышляли на тракте тем, что срезали с возов тюки с чаем. Но промышляли они, как правило, по мелочи, а эти, видать, совсем лихие, вон что удумали – целый обоз умыкнуть. Купца – в ножи, ямщики – взаперти, а хозяин постоялого двора, связанный, у крыльца валяется. Будет после уряднику плакаться и разбитую морду для жалости во все стороны поворачивать.

Хитро придумано, комар носа не подточит. Ай да ухари!

Евграф сидел и не шевелился. Только глазами во все стороны – примеривался. Кинуться до постоялого двора и поднять мужиков? Нет, не успеть. Срежут на бегу из ружья, как рябчика, и фамилию не спросят. А тут еще, как на грех, выскользнула из-за тучи луна и сронила свой негреющий свет на ограду – хоть в бабки играй, все видно. Евграф, стараясь не дышать, опустился на четвереньки, затем лег на снег и пополз, извиваясь, как уж на болотине. Бороздил притоптанный снег, вжимался в него и полз к избушке, стоявшей чуть на отшибе, где спал, ничего не ведая, купец Агапов. Дверь, на счастье, оказалась изнутри незапертой, да и купец, как выяснилось, спал чутко, вполглаза. С двух слов все понял.

Как только двери избушки по-воровски неслышно открылись, в чаерезов – в упор – грянули два ствола. Следом звенькнуло окно в избушке, бухнул еще один выстрел, и чаерез, бежавший к крыльцу постоялого двора с колом, чтобы подпереть дверь, с разбегу ткнулся носом в землю.

Дальше началась суматоха. Из постоялого двора посыпались ямщики, чаерезы ударились бежать, за ними погнались на лошадях, но они кинулись в тайгу и – как сгнули. Вместе с ними исчез и хозяин постоялого двора. Агапов, не выпуская ружья из рук, бегал по двору и пересчитывал возы, сбивался со счету и начинал сызнова. В конце концов пересчитал – все возы были на месте, и тюки на возах тоже были в сохранности. Он отыскал среди ямщиков Евграфа, бухнулся перед ним на колени, заблажил:

– Век тебя, парень, не забуду! От разоренья спас! Если б не ты, остался бы с прорехой в кармане! Благодарность тебе, вот, до земли до самой!

И кланялся, прижимаясь потным лбом к утоптанному снегу.

Наградил своего спасителя Агапов щедро, не поскупился: домой Евграф вернулся с двумя возами китайского чая. Таисья Ефимовна, выслушав рассказ мужа, вздохнула:

– И куда нам его, этакую прорву. На всю жизнь хватит – хоть в три горла хлебай!

– Понюшки не разрешаю трогать! – обрезал супругу Евграф Кононович. – Травки заваривай, а то на чаек, видишь ли, растащило!

Спорить Таисья Ефимовна не стала, только головой покачала, безмолвно высказав мужу: да делай ты со своим чаем чего душе угодно, хоть свиней корми...

Евграф Кононович любовно оглаживал тюки, как Таисью в молодости; жмурил глаза и думал о чем-то своем, затаенном. Весной выяснилось – о чем думал. Когда пали дороги и взялись от талой воды непролазной грязью, он раскрыл несколько тюков, пересыпал чай в переметные сумы, навьючил их на своих коней и, перекрестившись, выехал из ворот. Путь его лежал в самые дальние таежные деревни, где зимние запасы давно кончились, а новые по гиблой распутице никто и не думал подвозить. Но там, где не пролезет телега, можно проехать верхом. Вот Евграф Кононович и проехал. Чай – товар легкий, к земле сильно не гнет. А спрос такой, что с руками оторвать готовы, – махом распродал первую партию. Вернулся за второй, за третьей... Всю весну колесил по тайге с переметными сумами, с лица почернел, отощал до края,

коней своих довел – одни ребра под кожей торчали, но зато весь чай, до последней щепотки, был продан по такой хорошей цене, какая, наверное, и самому купцу Агапову не снилась.

С этого чайного капитала и попер в гору Евграф Кононович: теперь он выезжал на тракт с грузами уже не на двух конях, а на пяти; затем их стало десять, а через несколько лет и сотенные обозы пошли по сибирской земле – луканинские.

Широко, хватисто разворачивался мужик. Носился сломя голову по притрактовым селам, нанимал ямщиков, заводил знакомства по начальству, в губернский город все чаще навещался, чтобы не прозевать выгодный казенный подряд и вовремя ухватить его, сам покоя не знал и другим дремать не велел. Отгрохал в Раздольном двухэтажный дом, работников нанял, хотел еще горничную и стряпуху взять, но воспротивилась Таисья Ефимовна:

– Ты, однако, совсем рехнулся! Да виданное ли дело, чтоб мне чужие бабы стряпали! Не будет здесь никого, пока я хозяйка!

Спорить с женой Евграф Кононович не стал и поехал взад пятки: не желаете помощниц, тогда сами хозяйствуйте. Да и некогда ему было с домашними делами разбираться; у него теперь, считай, вся жизнь в дороге проходила: на двести верст в одну сторону от Раздольного и на двести верст в другую, почти все перевозки грузов и пассажиров находились теперь в руках Евграфа Кононовича. А уж он из своих рук ничего не выпустит. У него все в дело годится. Если постоялый двор завел, значит, при нем и кузня имеется – коней подковать, обод поправить. А еще при постоялом дворе лавка стоит с самым необходимым товаром – мало ли какие надобности могут возникнуть у господ проезжающих. А еще при каждом постоялом дворе у Евграфа Кононовича сидел, как пень при дороге, мастеровой на все руки кустарь: в одном месте посуду ладили, в другом – пимы катали, в третьем – полушубки шили, в четвертом – упряжь конскую... Все, все в дело шло, в одни руки копейка падала.

Прошло лет семь.

В один из летних вечеров Евграф Кононович, вернувшись из дальней поездки и только что досыта напарившись в бане, пил чай с мягкими каральками и благодумствовал. Хорошо! Шевелил пальцами босых ног и глаза прижмуривал от удовольствия.

Но сладкую минуту отдыха нарушила Таисья Ефимовна. Поднялась наверх и доложила:

– Бродяжка какой-то тебя спрашивает. Надо, говорит, до зарезу, хозяина видеть.

– Ишь ты как – «до зарезу»! А в другое время ему дороги не нашлось! В кои веки роздых себе дал, а ему – «до зарезу»! – Войдя в силу и разбогатев, Евграф Кононович приобрел привычку ворчать и строжиться. Иначе, говорил он, уважать не будут. Но Таисья Ефимовна, как и прежде, на короткой ноге держала себя с благоверным, с ответным словом еще ни разу не замешкалась:

– Ну, ступай и сам ему скажи. А чего я туда-сюда снова буду, я вам не челнок.

Евграф Кононович еще поворчал, для порядка, и спустился вниз. На крыльце, на нижней ступеньке, его действительно поджидал бродяжка. В годах уже, сивый; на голове, несмотря на жару, татарский малахай, через плечо, на длинной лямке, висит холщовая сумка, шабур грязный и до того истасканный, что дырки просвечивают. Увидев хозяина, бродяжка поднялся и поклонился:

– Доброго тебе здоровья, Евграф Кононович.

– И тебе – не хворать. Чего звал?

– Неужель не признаешь, Евграф Кононович?

Вгляделся в бродяжку попристальней – нет, кажется, не доводилось встречаться раньше.

– Оно конешно, – вздохнул незванный гость, – где же меня теперь, прежнего, узнаешь. Измочалила жизнешка, пятнай ее мухи. Агапов я, был такой купец раньше в Ирбите, чаем торговал. Слышал про него?

– Вот те на! – Евграф Кононович только руками развел: это ж надо как судьба распорядилась и в каком растрепанном виде довелось своего благодетеля встретить.

Велел Таисье Ефимовне достать чистое белье, отправил гостя в баню, благо она еще не простыла, а после зазвал его наверх, усадил за богатый стол, щедро принялся угощать.

Выпив винца, Агапов жадно накинулся на еду. Сметал все подряд, что на столе было, да так помногу напихивал в рот, что едва не подавился.

– А худо тебе с переуду не станет? – обеспокоился Евграф Кононович.

– Хуже мне теперь ничего не будет. Смерть и та в радость, да вот настигнуть никак не может... – Агапов сморщился маленьким усохшим личиком и тихо, безнадежно заплакал, подшвыркивая носом, как обиженный ребенок.

Была у Агапова причина плакать столь безутешно. Евграф Кононович лишь головой покачивал, слушая печальную историю, которая завершилась холщовой сумкой – в нее Агапов куски складывал, собирая ради Христа нищенское подаяние. Где каменный дом в родном Ирбите, где чайные обозы, где бывшее уважение и крепкий достаток? Все кануло, все ахнулось, как в тартарары, все рассыпалось в прах. А причина несчастья – в детках родных. Два сына было у купца Агапова, два статных красавца – отцовская надежда и утеха. На них и оставил он свое дело, когда приключилась с ним внезапная болезнь: обезножел Агапов. Каким ветром надуло хворь – непонятно, но скрутила она его крепко: с постели не мог сползти и беспомощным стал, как младенец. А дело-то купеческое ждать не будет, оно не может терпеть долгих перерывов. Вот Агапов и призвал сыновей, переписал на них все распорядительные бумаги, – владейте, дети, умножайте капиталы отцовские.

Владеть – дело любезное. И за три года детки весь капитал профукали: кутежи, бабенки, карты – все удовольствия денежку требовали. Вот она, денежка эта, и летела без счета на ветер. Старший сын в пьяной драке сгинул. В губернском городе, в ресторане, задрался с проезжим офицером, расквасил ему нос, офицер же, видя, что с таким бугаем ему не совладать, выдернул револьвер... А младший сам помер, винищем опился. После очередного кутежа пришли его будить, а он лежит на диване в гостинице – неподвижный уже и холодный.

Сразу же кредиторы слетелись, как вороны на падаль. И оказалось, что оставили после себя сыновья Агапова море долгов. А долги возвращать надо. И возвернули свое кредиторы, забрав подчистую у Агапова все нажитое. Дом и тот с торгов ушел.

От великих переживаний Агапов неожиданно встал на ноги. Сколько всякого лечения и снадобий перепробовал – ничего не помогало, а тут... Не иначе Господь сжалился. Погоревал Агапов и пошел, подаяниями питаясь, искать Евграфа Кононовича Луканина, надеясь у него какое-никакое место найти, чтобы дожить свой век пусть и под чужой крышей, но зато не голодным.

Крепко задумался Евграф Кононович, выслушав горький рассказ Агапова, а затем велел жене позвать Захарку. Тот пришел, встал у порога, плечом в косяк уперся. Высокий больше-рукий подросток, на верхней губе уже пушок пробился.

– Слушай, Захар, что человек этот рассказывать станет. А что услышишь – крепко-накрепко на носу себе заруби. Так заруби, чтоб на всю жизнь не забылось.

И заставил Агапова во второй раз повторить свою печальную историю.

Учился Захар в ту пору в гимназии в губернском городе и находился по случаю летних каникул в родном доме. Бегал со своими ровесниками на рыбалку, бродил по тайге с ружьишком, читал книжки и начинал заглядывать на соседских девчонок – а чем иным может заниматься гимназер, приехавший на отдых? Он и подумать не мог, что столь вольные каникулы у него – в последний раз.

Горькая история, рассказанная Агаповым, так тревожно легла на душу Евграфу Кононовичу, что он сразу же и решил: в работу надо впрягать Захара, не делая ему никаких поблажек. Пусть сполна знает – как она, копеечка, достается. Тогда и беречь ее будет, а не транжирить. И уже через два дня, исполняя задуманное, отправил сына с обозом в дальнюю поездку. Как щенка в речку бросил, а после стоял и загадывал: выплывет или не выплывет?

Выплыл парнишка! Да еще как выплыл!

Мало того что обоз привел в целости и сохранности, сумел еще Захар и выгодный подряд найти – сено поставить для воинской команды в уездном городишке. На постоялом дворе с офицером разговорился, узнал про нужду военных и сразу же услуги предложил. А сена в Раздольном мужики напластали в то лето под самую завязку, потому как травы вымахали выше пояса. Сильно мужики не торговались, отдали по дешевке, еще и на возы сметали. А уж сами возы по адресу доставить – раз плюнуть.

Евграф Кононович только подивился хватке и сметливости сына, а на следующее лето уже всерьез запряг Захара, доверяя ему нанимать ямщиков, торговаться с купцами, которые грузы отправляли, вести денежные счета. И со всеми делами, которые поручал отец, Захар справлялся быстро и легко, словно играючи.

– Повезло тебе, Евграф Кононович, сильно повезло, – говорил Агапов и прищелкивал языком, будто отведал сладкого кушанья. – Ловкий парень, дальше тебя пойдет. Вон как широко шагает.

– Ага, пойдет, – недовольно бурчал Евграф Кононович, – если штаны не порвет.

Но бурчал он для виду, для строгости, скрывая радость и довольство, что сын у него оказался не из последних, а можно даже сказать, что из первых.

– Не гневи Бога, – вздыхал Агапов, – не ворчи, а радуйся.

Сам Агапов, найдя приют у Евграфа Кононовича, служил ему, как умный сторожевой пес служит своему хозяину: зря не гавкает, но если возникнет надобность – порвет. Евграф Кононович доверял ему, как самому себе. Агапов же, когда отмылся, отъелся и подстриг куделью свалывшуюся бороду, словно заново народился: шустрый, пронырливый, въедливый до самой последней мелочи, готовый сутками напролет сидеть и щелкать на счетах, выверяя каждую копейку, а уж торговаться он мог до посинения, хоть сутками. Этот жук навозный, говорили про него, из дерьма конфетку слепит, в бумажку завернет и продаст – не поморщится. Когда такие отзывы до Агапова доходили, он лишь смеялся легоньким смешком и ручкой отмахивался, приговаривая: «Я, ребята, г...м не торгую, я хозяйский интерес блюду».

Вот так, втроем, они и тащили громоздкое хозяйство. Евграф Кононович – в коренниках, а Агапов с входившим в силу Захаром – в пристяжных. Сын продолжал радовать отца по всем статьям. Отрывая время от учебы в гимназии, вел дела родителя в губернском городе, на каникулах – тоже в отцовских хлопотах. Но скоро его жизнь должна была поменяться. Накануне выпускных экзаменов в гимназии Евграф Кононович принял решение: отправить сына в Москву на дальнейшую учебу в коммерции.

Гимназию Захар окончил с похвальным листом. Ехал домой, готовясь обрадовать родителя, думал-мечтал о далекой Москве – и вдруг, посреди ровного течения жизни, как в прорубь ахнулся. За два перегона от Раздольного, на постоялом дворе, где меняли лошадей, догнала Захара страшная новость: родитель его в одночасье преставился. Никогда и ничем не хворавший, выносливый и сильный, как добрый конь, смерть свою Евграф Кононович нашел на строительных лесах. В богатом притрактовом селе Троицком он задумал поставить еще один постоялый двор. Строил его с размахом, в два этажа, просторный; навещивался в Троицкое едва ли не раз в неделю и самолично проверял – все ли делается так, как надо, нет ли какой промашки либо недочета. И вот в последний свой приезд шел по строительным лесам, как раз после недавнего дождика, поскользнулся и не сумел удержаться. А внизу, на земле, бревна навалом лежали. И надо же было случиться, что в одно из этих бревен он угодил виском – в аккурат по самому срезу. Кинулись плотники, подняли его, а он только и смог, сердешный, руку до лба донести, перекреститься хотел – да сил не хватило. С тем и помер, без единого слова.

Таисья Ефимовна пережила его ровно на один год.

10

Наутро, после торжества, проснулся Захар Евграфович поздно, когда уже солнце поднялось, и проснулся от чудного и сладкого видения: явилась к нему нагая дева. До того она была красивая и порочная, что он даже вздрогнул во сне, словно огнем опалило. Открыл глаза и долго, ничего не понимая, вглядывался в потолок, разрисованный хвостатыми птицами павлинами.

«Может, и верно Ксюша говорит – пора дураку жениться...» – он хохотнул, попытался подробней вспомнить недавнее видение, но оно уже бесследно исчезло из памяти, а взамен оставило лишь жгучее чувство – красивая и порочная была дева.

Захар Евграфович натянул на себя шелковый халат, разукрашенный, как и потолок, разноцветными диковинными птицами, и босиком пошлепал по паркету к двери. Спустился по широкой лестнице в залу, где все уже было вымыто и вылизано до блеска, и весело поздоровался с Екимычем, исполнявшим странную должность – не то мажордом, не то камердинер, не то заботливый дядька при дитяти, за которым нужен постоянный догляд. Екимыч на приветствие хозяина молчком поклонился, показывая розовую плешь на затылке, и вытянулся, ожидая распоряжений. Было ему за пятьдесят, но мужик еще крепкий, могучий, при широкой окладистой бороде и с маленькими черными глазками, которые сверлили всех подряд изпод насупленных бровей, будто два острых шильца. На вытянутых руках Екимыч держал аккуратно сложенную белую простыню.

– Как погода нынче, Екимыч?

– Бог миловал, дождя нет.

– Чего тогда кислый?

– Кислым квас бывает, а я – как всегда, не кислый и не сладкий.

– Тогда поплыли.

– Поплыли, – вздохнул Екимыч.

За богатым каменным домом, больше похожим на дворец, был вырыт прямоугольный пруд, обсаженный тоненькими березами, которые безутешно роняли в эту пору листья на темную гладь воды, уже заолодавшей, готовящейся покрыться льдом. В этом пруду, если не был в отъезде, Захар Евграфович купался каждое утро – круглый год. Скидывал халат с диковинными птицами и нагишом нырял в воду со специально выстроенных мостков. Екимыч терпеливо ждал его, держа на вытянутых руках простыню, и зорко ощупывал черными глазками высоченный дощатый забор, который отделял пруд от проезжей улицы. Забор пришлось поставить два года назад, потому что по утрам собирались зеваки, среди которых бывали замечены и дамы известных фамилий в городе, собирались с одной целью – поглазеть на странного господина Луканина, когда пребывает тот в чем мать родила.

Сам Захар Евграфович только похохатывал:

– Пусть смотрят; если разорюсь, я с них деньги брать стану.

Екимыч был иного мнения.

Имевший характер жесткий и подозрительный, умевший держать в кулаке всю многочисленную прислугу и работников обширного луканинского подворья, при всем при этом он был подвержен одной слабости: до дрожи в коленках боялся сглазу, по-детски верил во всякую чертовщину, а нынешним летом даже привез батюшку, чтобы тот окропил баню для работников, в которой примерещился ему банник – бородка седенькая, клинышком, как у козла, глаза зеленые, головка тыковкой, а на головке – рожки...

Вот согласно своему мнению Екимыч и настоял, чтобы возле пруда поставили сплошной, высоченный забор из толстых досок, подогнанных друг к другу столь плотно, что даже и малых щелочек не зияло. Объяснял он возведение забора философически витиевато:

– Ежели на человеке одежды нету, ежели он голый, как новорожденный, то дурной глаз его насквозь пронзает – вот как иголка через тряпку проскакивает. И случается от этого у человека в разуме повреждение. Вчера – хоть куда молодец красовался, а нынче голова ходуном ходит, руки-ноги трясушкой колотит, а сам он, бедный, верещит неведомо что и козлом блеет...

Плаванье в это утро продолжалось дольше, чем обычно. Быстрыми, сильными саженками рассекал Захар Евграфович ледяную уже воду пруда, а на лбу у него красовался прилипший березовый листок. Так он с ним, ежась, и выскочил на берег. Тело горело алым цветом, как после бани. Екимыч даже плечами передернул – зябко ему стало. Кутаясь в простыню, Захар Евграфович неторопливо направился к дому и на ходу заговорил:

– Екимыч, мне сегодня баба голая снилась... Скажи – по твоим приметам, к чему такой сон?

– Про бабу голую в моем соннике ничего не написано. Полагаю, однако, к блюду такие сны являются...

– Жаль... Я-то думал – к женитьбе, на честной барышне.

– А кто мешает? Только головой качнуть – и сами набегут, немеряно.

– Да не в том дело. Сонник у тебя дрянной, Екимыч. Выкинь его и новый купи. Как же так? Голая баба приснилась, а толкования этому явлению нет? Дрянной, дрянной сонник. Выкинь!

– Все насмехаться изволите, Захар Евграфович...

– Да ты не обижайся, Екимыч, я же не со зла, а от удивления... Голая баба приснилась, а толкования нету...

И, остановившись, Захар Евграфович запрокинул голову и захохотал.

Екимыч насупился, уставил черные, сверлящие глазки в землю. Сердито известил:

– Там парень какой-то с утра добивается; говорит, на службу его зазывали, по охотничьей части. И девка при нем. Позвать?

– Не припомню, какая служба по охотничьей части? Ладно, зови, сейчас оденусь, в кабинете буду.

В светлом и просторном кабинете Луканина, уставленном высокими книжными шкафами и креслами с вычурно выточенными ножками, с огромным столом, обтянутым сукном, с хрустальными люстрами, каждая из которых была с тележное колесо, с высокими, в рост, зеркалами по стенам, с мягким цветным ковром, скрадывающим звук шагов, Данила растерялся и замер на пороге, забыв закрыть за собой дверь. Захар Евграфович, сразу узнав его, раскинул руки и пошел навстречу:

– Друг Данила, ты ли это?! Да не топчись у порога, проходи, садись. Рассказывай – каким ветром занесло?

Обнял его, подвел, легонько подталкивая, к столу, усадил в кресло, сам расположился напротив. Видно было, что он непритворно обрадовался. Да и как не обрадоваться человеку, с которым не одну ночь просидели у охотничьих костров, с которым протопали по тайге, добывая дичь, немереное количество верст и побывали в самых разных переплетах. Данила нравился Захару Евграфовичу своей немногословностью и обстоятельностью, но самое главное – он никогда не заискивал, как иные, видя перед собой богатого человека и надеясь получить от него лишнюю денежку.

– Нужда меня привела, Захар Евграфыч, – с натугой, перебарывая самого себя, заговорил Данила. – Помнится, зазывали к себе: человек, мол, нужен по охотничьей части. Вот и хотел спросить – надобность не отпала?

– Надумал?! – радостно вскинулся Захар Евграфыч. – Ну и молодец!

– Да тут такое дело, – Данила запнулся, – не один я... Звали-то одного...

– Погоди, рассказывай по порядку, чего ты вокруг да около?..

– Ладно, расскажу, – вздохнул Данила.

И начал рассказывать.

Как только он добрался до волка, подброшенного в ограду, Захар Евграфович, не в силах себя сдержатъ, запрокинул голову и захохотал – так громко и заразительно, будто сам догадался убитого зверя через заплот перекинуть:

– Собаки, значит, его рвут, а девица через окно и в огород?! Ну, Данила, ну, умелец! – Не унимаясь, Захар Евграфович продолжал хохотать и от удовольствия даже шлепал ладонями по столешнице.

Нахохотавшись, вытер слезы, велел Даниле подождать, а сам вышел из кабинета, позвал Екимыча и распорядился:

– Поселишь их с девицей в сторожку; девицу определишь на кухню, а Данила при мне будет. С жалованьем я после сам решу. Ступай, Данила, красавица-то, наверное, заждалась, волнуется...

Екимыч, не разделяя веселости хозяина, настороженно оглядел Данилу и недовольным голосом доложил:

– Агапов просил передать, чтоб к нему зашли, сообщенье у него важное...

– Скажи, что сейчас буду. Устраивайся, Данила, вечером к вам загляну. Надо же – через огород!

11

На задах луканинского дома, вплотную примыкая к глухой стене, стояла широкая и приземистая пристройка, выкрашенная зеленой краской. Здесь располагалась контора. Отсюда разлетались телеграммы и распоряжения едва ли не на всю Сибирь, здесь с утра до ночи весело щелкали костяшки на счетах, шуршали деловые бумаги, векселя и кредитки, сновали расторопные приказчики и звенели о тонкое стекло в серебряных подстаканниках чайные ложки – сам чай, баранки и пироги к чаю подавались всем служащим бесплатно. Со всем этим безостановочно гудящим хозяйством, похожим на улей с трудолюбивыми пчелами, умело управлялся постаревший Агапов. Не так давно он снова обезножил и передвигался теперь на коляске, специально выписанной для него из столицы, а для удобства его разъездов во всей конторе убрали пороги и порожки.

Был Агапов самым приближенным человеком Захара Евграфовича, так повелось еще со времени смерти старшего Луканина. Тогда юный Захар растерялся от множества дел и забот, которые внезапно на него свалились. Был даже момент, когда у него опустились руки и он уже собирался выставить свое наследство на продажу. Не дозволил Агапов. Пристыдил, поругал незлобиво, а затем предложил вовсе неожиданное: подняться с насиженного места и перебраться в Белоярск. Захар, когда услышал это в первый раз от Агапова, только усмехнулся, посчитав, что старик чудит. Белоярск числился городишком так себе: зачуханный, занюханный и грязь – по колено. Да и каким он мог быть иным, находясь в самой что ни на есть глухомани, даже по меркам обширных сибирских краев. А самое главное – стоял на отшибе от тракта.

– Ты надо мной не хихикай, – заметив усмешку Захара, спокойно растолковывал Агапов, – я из ума еще не скоро выживу. Нынче времена иные наступили. Белоярск ого-го как загремит!

И действительно, времена в Белоярске наступали горячие. В верховьях реки Талой, на крутом песчаном берегу которой и стоял городишко, получив от этого берега свое название, охочие люди разведали золото. Большое золото.

Встрепенулась округа! Кинулся народ на поиски неверного счастья, имя которому – фарт. Кинулся, как до смерти оголодавший человек кидается на краюху хлеба: ничего не видит и не слышит, одно-единственное желание все перешибает – утробу набить.

Только и разговоров среди деловых людей – о шальном и дурном золоте в верховьях Талой.

– Да ты хоть представляешь, что это такое – золото добывать? – сердился Захар. – Механизмы, инструменты, рабочие – какие деньжищи сначала вложить надо! А будет отдача или нет – это еще бабушка надвое сказала. Ты хоть раз видел, как золото добывают? Я не видел! Значит, людей знающих со стороны звать, доверяться им, а в таком деле, с золотом, доверия быть не может. Понимаешь?

– Все я понимаю, милый мой Захар Евграфович, – невозмутимо и негромким голосом отвечал ему Агапов, – парнишка-то я смысленный. Не кипятись. Выслушай до конца. Не надо нам никаким боком с золотом связываться. Ну его к лешему, золото... Нам свой промысел надо соблюдать. Сам посуди. От тракта до Белоярска больше сотни верст. Не близехонько. А чтобы приисков достигнуть, надо еще вверх по речке подняться, до Кедрового кряжа... Теперь прикинь – сколько подвод потребуется, чтобы все грузы перевезти. Это ж одной только жратвы немеряно потребуется. Вот где золотое дно – на перевозках! А если пару пароходиков спроводить да гонять их по речке туда-сюда – огребемся прибылью!

Расчет Агапова оказался верным. За первый же год на перевозках грузов к золотым приискам Захар Евграфович покрыл все расходы, связанные с переездом на новое место. А на второй год пошла прибыль, вот уж действительно – золотое дно. Быстро и широко развернулся

Захар Евграфович. Ему и по сегодняшний день никаких конкурентов не было, а клиенты стояли в очередь. Вот попался навстречу молодой приказчик Ефтеев, в руках у него – кипа телеграмм, и в каждой – просьба: милостивый государь, будьте любезны, поскорее, дабы дело наше не знало простоя...

– Здравствуй, здравствуй, Ефтеев, – отозвался Захар Евграфович на приветствие приказчика. – Чего нам пишут?

– Да все просят, Захар Евграфович, до снега торопятся грузы перекинуть.

– Ну и ладно. А где у нас Агапов?

– Да у себя был в каморке. Позвать его?

– Нет-нет, занимайся своим делом. Я сам, не заблужусь.

В дальнем конце широкого коридора – низенькая дверь, ведущая в каморку Агапова. Половина этой каморки занята одним большим столом, на котором аккуратно разложены всяческие бумаги, лежат счета и стоят два чернильных прибора. Агапов катается на своей коляске вдоль стола, пишет, читает, щелкает костяшками счет и постоянно бормочет-напекает себе под нос одну и ту же песню:

Ехал на ярмарку ухарь купец...

Он пропевал ее тоненьким, дребезжащим голоском с первого слова до последнего, а затем начинал сначала.

За последнее время, особенно после того как снова обезножел, Агапов сильно постарел: сморщился лицом, поседел до последней волосинки в бороде и на голове, но глаза оставались живыми и быстрыми.

– Как спалось-почивалось, Захар Евграфович? – Агапов аккуратно вытер тряпочкой стальное перо и положил ручку на чернильный прибор, круто развернул коляску, так, чтобы видеть перед собой хозяина, и продолжил: – Слышал, слышал, как вчера господа гости куролесили. Знатно!

– Сам-то чего не пришел?

– А чего мне там делать? Плясать не могу, манерам не обучен, седи уж, пим дырявый, за печкой и не выглядывай.

– Вот и получилось: самые близкие не появились. Ни тебя, ни Ксюши.

– Ладно, Захар Евграфович, не обижайся. Гости погуляли и уехали, а мы-то с тобой остались. Зато я тебе такой важнеющий подарок приготовил!

– Ну, показывай свой подарок.

– А он такой, подарок-то, его не покажешь. Про него только рассказать можно.

– Тогда рассказывай, чего тянешь!

– Расскажу, расскажу. Только давай выкатимся отсюда на вольный воздух.

– Какие такие секреты? Говори.

– Секреты, ох, секреты... Даже стенам доверить побаиваюсь. Поехали, поехали на воздух, на всякий случай...

Агапов выкатился из своей каморки, дверь закрыл на всячий замок, большой ключ на засаленной веревочке повесил себе на шею и покатил к выходу, ловко двигая руками колеса коляски. Захар Евграфович молча последовал за ним.

Недалеко от конторы стояла беседка. Над ней высился могучий разлапистый кедр, щедро усыпанный в этом году шишками. Иные из них, перезрев, падали и глухо тюкались в землю.

– Куда Екимыч смотрит, собрать бы урожай надо, пропадает, – сетовал Агапов, задирая голову вверх и оглядывая кедр.

– Да я не велел, пусть кедровкам на корм останется. Зима длинная...

– Святое дело – божьим птицам на прокорм. Святое дело...

– Слушай, старый, ты для чего меня звал, про шишки спрашивать?

– След Цезаря отыскался – вот тебе новость, вот тебе секрет, и вот тебе подарок!

– Где?! – встрепенулся Захар Евграфович и так круто развернулся на каблуках, что вывернул с корнями пожухлую траву.

– Да ты присядь, Захар Евграфович, присядь. В одно слово не уместишь. Долго надо рассказывать...

– Чего ката за хвост тянешь?! Говори!

– Говорю. По порядку. Докатился до меня слушок, что объявился у нас, в ночлежном доме у Дубовых, мужичонка один из беглых. При золотишке. И начал он, как водится, голенища загибать. Крепко закуролесил, две недели не просыхал, а в пьяном виде рассказывал: будто бы побывал он за Кедровым кряжем, а там, будто бы, староверы проживают, и там же, за Кедровым кряжем, Цезарь со своими людишками обосновался...

– Ты чего несешь?! – едва не закричал Захар Евграфович. – За Кедровый кряж, всем известно, пробиться невозможно! Гиблое место! Сколько народу сгинуло, а никто одолеть не мог. Ладно, твой беглый с перепоею сказки рассказывает, а ты с какого рожна их повторяешь?

– А откуда он про Цезаря с его людишками проведал?

Захар Евграфович замолчал, словно споткнулся. Агапов же, будто куделю скручивал, потянул дальше дребезжащим своим голоском:

– Спорить с тобой, Захар Евграфович, не собираюсь, а только сомнение меня одолевает: за Кедровый кряж не пробиться, а мужичонка откуда вылупился? Ветром с горы надуло?

– Доставь его сюда, и спросим. Только мужичонки твоего, как я понимаю, давно уж след простыл. Да был ли он?

– Был, был – это я тебе верно говорю. А вот доставить его сюда, правильно толкуешь, в сей момент не могу. А что следа касаемо – не простынет. Сегодня вечером наведаюсь к Дубовым – в точности разузнаю. Все следы разыщем – вот увидишь. Будет Цезарь у нас в руках трепыхаться, будет, хоть из-за Кедрового кряжа достанем, хоть из-под земли.

– Ну-ну, – Захар Евграфович круто развернулся и скорым шагом пошел прочь от беседки. Кулаки у него были крепко сжаты. Сквозь зубы он чуть слышно шептал: «Цезарь, Цезарь, где же тебя отыскать, вражина?»

12

На отшибе от Белоярска, на крутом взгорке, который торчал, как большой чирей, посреди поймы реки Талой, высился огромный и несуразный дом: в два этажа, с множеством окон самых разных размеров, с плоской крышей и – без углов! Круглый. Внизу – подвал, в него вели широкие ворота, в которые можно было въезжать хоть на телеге. В любое время года ворота стояли распахнутыми настежь, и в подвал, когда выдавались ветреные дни, летели снег, дождь, пыль и мусор. На дороге, ведущей к воротам подвала, а заодно и к самому дому, высилась большая каменная арка. Кирпичная кладка выщербилась, и стояла арка вся в выбоинах, словно переболела оспой.

Невиданное в городе каменное чудо взялся строить лет семь назад владелец трех золотых приисков Кузьма Ильич Деревянко. Веселый был человек, азартный, грозился, что на плоской крыше дома он разведет невиданный сад, закроет его сверху стеклом и будут у него круглый год родиться невиданные огурцы и даже яблоки. Белоярцы только головами покачивали, слушая про его замыслы, а за спиной даже пальцами у висков крутили, да только кто ему указ, Кузьме Ильичу – свои деньги тратил, не чужие и не заемные. И росло каменное чудо, как на дрожжах. Кто знает, может быть, со временем и выросло бы оно полностью, согласно грандиозному замыслу, да только случилось непредвиденное событие: разменяв шестой десяток, Кузьма Ильич отправился в город Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть от праведных трудов, и имел там неосторожность пойти в театр и увидеть на сцене молоденькую балерину, порхающую, как невесомая белая бабочка. Увидел и с ума сошел старый. Позабыл обо всем на свете. Ни жены, ни детей, ни внуков своих не вспомнил, когда просаживал деньжищи на содержание порхающей балерины. А девица оказалась из молодых, да ранняя. Сразу сообразила, какую ей выгоду сулит поздняя старческая любовь сибирского денежного мешка, и залезла в этот мешок сразу двумя проворными ручками. Тащила, не стесняясь. Но до тела своего Кузьму Ильича не допускала, только и позволяла ручки целовать. А он еще сильнее раззадоривался. И ничего для белой бабочки не жалел: на нежные пальчики, на трепетную шейку, в мочки розовых ушек столько драгоценностей уместилось, золота и бриллиантов, что впору их было взвешивать, если все скопом собрать, с помощью пудовой гири. А старому неймется, бес в ребро тычется: банкеты на сотни персон закатывает, бенефисы для своей пассии устраивает, в конце концов отправляется с ней в далекий город Париж, где каждый, кто служит высокому искусству, обязательно должен побывать. В Париже балерина быстренько бросила Кузьму Ильича и упорхнула с молодым и очень красивым итальянцем в неизвестном направлении. От огорчения Кузьма Ильич запил горькую и, возвратившись домой, остановиться никак не мог. Дела его тем временем пришли в полный упадок, и закончилось все очень печально: на белоярском кладбище появился большой чугунный крест, два прииска ушли в чужие руки, а наследники Деревянко, чтобы спасти третий, начали торопливо продавать движимое и недвижимое. Выставили на продажу и недостроенный чудо-дом.

Но покупать его никто не желал.

Предлагали владельцы даже на кирпичи разобрать и отдавали по совсем уж бросовой цене, однако снова выдалась осечка: не было покупателей. Еще и по той причине, что сведущие люди хорошо знали: кладка – мертвая, ни ломом, ни кувалдой ни единого кирпича добыть невозможно. Совсем отчаявшись, наследники Деревянко махнули рукой на дом и даже сторожей от него убрали.

И как только сторожей убрали, в дом шустро стала стекаться белоярская рвань: пропившиеся старатели, беглые, нищие и совсем пропащие людишки, давным-давно отбившиеся от дома и позабывшие фамилию и отчество. Чего, спрашивается, не жить? Какая-никакая, а крыша над головой имеется, все остальное Бог подаст, если смилостивится.

В это самое время неожиданно объявились покупатели, с которыми наследники Дервянко даже торговаться не стали – только бы с рук сбавить чудо-дом да хоть какую-нибудь копейку за него поиметь. Купили дом братья Дубовы, Акинфий и Ефим, звероватого вида мужики, явившиеся из дальней деревни, стоявшей у подножья Кедрового кряжа. Белоярцы гадали: чего они с домом делать будут, два таежных лешака? Под какое такое полезное дело приспособят диковинное строение?

А братья Дубовы, оказалось, ничего и не собирались с ним делать. Только и разорились: печи сложили, нары сколотили да окна вставили. И начали со всех постояльцев взимать плату – умеренную, скромную, в самый раз по дырявому карману. Правда, злые языки поговаривали, что Дубовы и золотишко, в обход казны, принимают, и ворованным добром не брезгают, да только на каждый язык платок не набросишь. Говорят? Ну и пусть себе молотят...

Как Дубовы с лихим народцем, оказавшимся у них в постояльцах, договориться смогли – неизвестно, но результат явился удивительный: нигде, ни на какой бумаге не прописанные правила проживания соблюдались неукоснительно. Были они простыми, как топориче: если в доме живешь – заплати, нет денег – договаривайся с хозяевами, они в твое положение всегда войдут, но если обманешь и сбежишь – больше здесь не появляйся. Если в доме что увидишь или услышишь, чего тебе видеть и слышать не надобно – забудь, но если хозяева спросят – отвечай, как на духу. А еще каждый постоялец знал: придут по твою душу казенные чины – хозяева тебя никогда не выдадут. Укроют, спрячут в многочисленных ходах, да так ловко, что сам черт не обнаружит. А дальше, не обессудь, выкручивайся, как знаешь.

Вот так и жил чудо-дом, именуемый теперь в народе очень просто – ночлежка у Дубовых.

Неяркое осеннее солнце шло уже на закат, когда через каменную арку прокатилась пролетка, в которой сидел Агапов и два дюжих луканинских работника. Кучер остановил жеребца недалеко от раскрытых ворот подвала, из глубины которого несло запахом нехитрого варева, слышался невнятный шум и пьяные песни. Совсем недавно Дубовы открыли в подвале обжорку, и там теперь, в чаду, в дыму и в пару, во всякое время суток можно было перехватить горячей требухи и вина.

– Ох, народ-то как веселится, – вздохнул Агапов, – аж завидки берут. Ни работ им, ни хлопот, а тут на старости лет шарахайся по гиблым местам да оглядывайся. Ладно, снимай меня, ребятки, тащи поклажу до Дубовых.

Работники соскочили с пролетки, сняли Агапова и усадили его на свои руки, сложенные крест-накрест. Понесли. Навстречу выскочил оборванец в немыслимом тряпье, опешил, увидев перед собой дивное зрелище, громко швыркнул сизым, потрескавшимся носом и прогундосил тоненьким голосишком:

– Добрая у тебя житуха, дед, на руках носят! Глянуть на тебя – пень трухлявый, а несут – как царевича!

– погоди, милый, погоди, скоро и тебя потащат – на кладбище. Будет тебе праздник, – весело отвечал Агапов. – Нос-то пропил, сердешный?

– Старая коряга! А ты мне наливал?!

– Это верно говоришь, не наливал. Ну-ка, ребятки, стойте, – Агапов пошарился в кармане, вытащил горсть мелочи. – Держи, сердешный, выпей за мое здоровье и за нос свой, чтоб он выправился.

– Да с нашим удовольствием! – оборванец весело ощерился беззубым ртом, принял в пригоршню негромко звякнувшую мелочь и так стремительно стрельнул к раскрытым воротам сарая, что тряпье на нем вскинулось и затрепыхалось, словно от порыва ветра. Агапов только головой покачал, удивляясь такой небывалой проворности.

Работники дорогу знали – обогнули дом, поднялись на невысокое крыльцо, и Агапов уверенно постучал условным стуком: раз-два, раз-два и еще раз – в крепкие, обитые толстым железом двери. Изнутри донеслось:

– Кого Бог послал?

– До вашей милости прибыл, Ефим Демидыч. Если не признал по голосу, доложусь тебе: Агапов я.

– Признал, заходи.

Железный запор звонко звякнул, двери широко раскрылись, и луканинские работники внесли Агапова в просторную комнату при одном-единственном и махоньком окошке, которое тускло маячило где-то под самым потолком. Но в комнате было светло, потому что на специальных подставках вдоль стен ярко горели керосиновые лампы. Посреди комнаты стоял круглый стол, застеленный красной скатертью с кистями, на столе весело пыхтел самовар, а за столом сидел, по-кошачьи прижмуривая и без того узкие глаза, старший Дубов – Акинфий. Разница в возрасте была у братьев лет в десять, но гляделись они как близнецы: невысокие, крепкие, словно пеньки, с крутыми, могучими плечами. И на лицо были одинаковы: носы приплюснуты, глаза узкие, скулы широкие, как разводья у саней. Звероватое, хищное проглядывало в обличии братьев, а когда они смотрели, прищуривая до тоненьких щелок узкие глаза, человеку, оказавшемуся перед ними, становилось не по себе.

Но Агапов давно знал и хорошо изучил Дубовых. Поерзал, удобней устраиваясь на мягком стуле, утвердил локти на столешнице и отправил работников на улицу:

– Ступайте, ребятки, на крыльце меня обождите. Я тут чаю с хорошими людьми похлебаю.

Дотянулся до чашки, сунул ее под краник самовара, нацедил кипятка, плеснул из фарфорового чайника запашистой заварки, размешал, отлил немного на блюдце и, ловко ухватив его тремя пальцами, принялся сошвыривать, вытягивая губы трубочкой, горячую влагу. Лязгнув железный запор двери, в комнату вернулся Ефим и сел рядом с братом, напротив гостя.

Хозяева молчали, и Агапов молчал, продолжая радостно швыркать чай, словно он его никогда не пил и лишь сейчас дорвался до неопикуемой сладости.

Потрескивали фитили в лампах, да надоедливо брунжала где-то поздняя осенняя муха.

– А мы его, Агапыч, силой тебе отдать никак не можем, – словно продолжая давным-давно начавшийся разговор, тяжело выговорил Акинфий.

– Никак не можем, – подтвердил Ефим.

Братья Дубовы и разговаривали одинаково: слова ворочали, как неподъемные камни.

– А зачем силой-то? – Агапов наконец-то поставил блюдце на стол. – Вы его передо мной посадите, сердешного, я сам потолкую. Меня-то он не испугается, какая в безногом старике сила?..

Акинфий нацедил кипятка в свою чашку, хлебнул, подумал и помотал лобастой головой:

– Ты наш устав знаешь, мы жителей своих никому не выдаем.

– Нам тогда никакой веры не будет, и весь порядок рухнет, – добавил Ефим.

– Да вы чего уперлись, ребятки, как быки в борозду? – ласково уговаривал Агапов. – Покажете меня издали, скажете: так, мол, и так, желает дед про твои путешествия услышать. И денежек ему пообещайте. К слову сказать, куда он исчез-то?

– Гуляет. Через недельку вернется, – Ефим скосил взгляд на старшего брата, тот легонько кивнул и Ефим продолжил: – Деньжонки кончатся – и вернется, как миленький.

– А точно вернется? – не унимался Агапов.

– Вернется, – заверил Акинфий, – он золотишко нам на хранение оставил. Явится, если не зарежут. Ладно, Агапыч, из уваженья к тебе изладим.

– За чаек благодарствую, добрый у вас чаек, ребятки. А это в прибавок к моей благодарности, – Агапов вытащил из кармана деньги, завернутые в белую тряпочку и сунул их под блюдце: – Ефим, кликни моих молодцев, вытаскивать меня пора, засиделся.

Уже в пролетке он негромко и ворчливо пробормотал:

– Хоть молись за этого бродягу, чтоб его ножиком не пырнули. И помолился бы, да не знаю, как кличут... И эти пеньки молчат, не сказывают...

13

Бес, бес, он, нечистый, прицепился к Егорке Костянкину, по воровскому прозвищу Таракан, прилип намертво и строил над ним каверзы, какие только хотел.

Промышлял Егорка мелким воровством, в большие разбойные дела не влезал, в суровые казенные руки ни разу не попался и жил не тужил: сытый, пьяный, а нос в табаке. Но бес попутал: не устоял Егорка перед соблазном и залез в богатый дом в Тюмени, за которым приглядывал целую неделю, пока не удостоверился в точности – в какое время не бывает в доме ни хозяев, ни прислуги. Проскользнул без звука, ловко открыв форточку. Был Егорка малого роста, худенький, как парнишка, и необычайно проворный, за что и заслужил свое прозвище. В доме, не оглядываясь, сразу взялся за дело, начал проверять содержимое шкафов и комодов, чтобы выбрать вещички размером поменьше, но ценой подороже. Тут и навалился кто-то на него сверху, как гора обрушилась, подмял под себя и давай душиить. Егорка дергается из последних силенок, а не тут-то было, в глазах уже красные кругляши запрыгали. Все-таки изловчился, вытянул из-за голенища сапога нож и давай тыкать им, не видя уже – куда и в кого тыкает. Только и чуял, что липкая кровь по руке течет, да слышал над ухом тяжелый хрип и матерную ругань.

Вырвался Егорка, отскочил в сторону и увидел, что лежит на полу, весь в кровище, здоровенный мужик. Не ругается уже, только хрипит и глаза закатывает. Егорка со страху вынырнул через форточку, словно щучка, но спрыгнул на землю неудачно – левую ногу подвернул. Не зря говорят, что бес с левой стороны находится, потому и плюют через левое плечо, чтобы он отстал. А Егорка не плюнул, позабыл... Кувыркнувшись, он в горячке еще вскочил на ноги, но сразу же рухнул на землю и скрючился от пронзительной боли.

Взяли его тепленьким и смиренным. Со всеми уликами: с чужой кровью на руках, с ножом и с хозяйскими золотыми побрякушками, которые он успел сунуть в карман. А к купцу Воробьеву, в дом которого залез Егорка, как после выяснилось, накануне брат в гости приехал, вот он и кинулся добро защищать. Добро защитил, а сам на тот свет отправился: Егорка, как судейские подсчитали, двенадцать раз его продырявил.

Дальше – дорога известная: тюменский тюремный замок, долгий этап и каторга.

На каторге Егорка выживал, как мог. Ловчил, изворачивался, привирал, приворовывал, но делал это все помаленьку, не перешагивая той невидимой черты, за которой могли убить, не моргнув глазом.

И все-таки на третьем году промахнулся. Снова бес подтолкнул.

Проигрался Егорка в карты, в пух и прах проигрался. Отдавать нечем. Сидел на тюремном дворе, крутил в руках щепочку и гадал – в каком виде карточный долг с него потребуют? Но сколько ни гадай, а яснее ясного: пропал шустрый Таракан, раздавят рваной опоркой на грязном, вонючем полу, никто и не заметит.

А день стоял – загляденье. Весна наступала, в небе играло солнце и пригревало через тюремный халат тепло и ласково. Жить хотелось Егорке. Он поднял тоскливый взгляд, чтобы посмотреть на небо, и увидел перед собой всегда угрюмого и молчаливого старовера Пругова. Его огненно-красная борода золотилась под веселым солнечным лучом, на щеках рдел здоровый румянец, будто пребывал Пругов не на каторге в подневольной работе, а на тихой пасеке возле речки. Здоровье и сила у него были необыкновенные: пожует хлеба, водичкой запьет, помолится, осеняя себя двуперстием, и ломит любую работу, ни с кем не разговаривая. Обходился он столь малым количеством слов, что и голоса его толком не слышали. Сам по себе существовал Пругов в пестром каторжанском обществе, и общество, признавая за ним силу и серьезность, не трогало его и не досаждало. Как он оказался на каторге, за какие провинности терпел страдания, никто не знал, а сам Пругов никогда не рассказывал.

И вот стоял он теперь над Егоркой, сидевшим на корточках, смотрел сверху вниз темными смородиновыми глазами и тихонько шевелил пальцами могучих рук, словно желал что-то нащупать в воздухе. Егорка тоже смотрел на него, пытаясь объять взглядом всю огромную фигуру, и почему-то тоскливо завидовал старOVERу. А тот помолчал-помолчал и заговорил, необыкновенно длинно:

– Ежели здесь останешься – смерть настигнет. Ежели со мной пойдешь – в дивное место приведу. Ни заборов там нет, ни беззакония, одна благодать Божья и вода чистая, белая. Мне споручник нужен, одному не в силу. Соглашайся.

Что оставалось Егорке делать? Не раздумывая, он кивнул.

Оказалось, что Пругов к побегу уже давно приготовился. Когда меняли в остроге бревенчатую стену, стояком вкапывая остро затесанные бревна, умудрился он два бревна не в глубокую яму посадить, а отпилить их у основания и чуть-чуть землей присыпать. Руками разгрести можно и наружу выскользнуть. Одна беда – слишком узким лаз получился. В такой лаз у Пругова только голова могла пролезть, а вот Егорке в самый раз. И он пролез ночью с мотком уворованной веревки, которую сразу же через острожную стену перекинул. По этой веревке и Пругов выбрался.

Трое суток уходили они по самым глухим и гиблым местам, почти не давая себе передышку. Егорка в кровь сбил ноги, обессилел, сник духом, все чаще стал падать на землю и лежать, не поднимая головы. Пругов подходил, стоял недолго, тоже отдыхая, затем молча вскидывал Егорку себе на спину и тащил, словно заплечный мешок. Лишь на четвертые сутки остановились у небольшого таежного озера, разожгли костер, вскипятили в котелке воду и сготовили болтушку, насыпав в кипяток немного сухарей и муки. Егорка смотрел на Пругова и лишь диву давался: у старOVERа и теперь румянец не сошел со щек, а борода при свете костра по-прежнему золотилась.

Похлебали болтушки, рухнули на еловый лапник, который показался мягче пуховой постели, и уснули, да так крепко, будто их пластом земли придавило. Всю ночь проспали, еще и день прихватили. Пробудились, когда солнце уже в зените стояло. Пругов достал из своего мешка сухарь, разломил его на две части и предупредил:

– Скудный стол у нас будет, Егорий. Из острога, сам ведаешь, много кушаний не вынесешь.

И замолчал, думая о чем-то своем, глубоко потаенном.

Егорка попытался завязать разговор, спрашивал – долго ли идти и куда идти, но Пругов не отзывался. Только вздыхал да крестился.

Идти пришлось далеко и долго – неделя минула, вторая, третья, четвертая, пятая... И лишь в конце лета выбрались они к подножию Кедрового кряжа, который высился перед ними, ошетиженный непроходимым буреломом, и взмывал в самое небо своей голубеющей верхушкой, сливаясь с белыми облаками.

Егорка задрал голову и охнул: не верилось ему, что можно одолеть такую громадину.

– Бог поможет, – словно прочитав Егоркины мысли, глухо сказал Пругов и размашисто перекрестился.

С лиственницы, стоявшей перед ними, густо сыпались сухие иголки и неслышно устилали землю – осень уже наступала. Если не успеют они до холодов выбраться к жилью, тоскливо думал Егорка, значит, и жить им больше не доведется. С одним лишь маленьким топориком, без муки и без сухарей, в одежонке, изодранной в лохмотья, измотанные и обессиленные до крайнего предела, питавшиеся долгое время только грибами и ягодами, не протянут они долгую зиму. Пруговское упование на Бога не утешало – Егорка и не помнил даже, когда он в последний раз в церкви был. Правда, вера у Пругова иная, не церковная, да какая разница... Подрагивали колени от напряжения и голодухи, однако Егорка пересилил себя, обошел лиственницу и полез в бурелом. Но отдельно стоящие деревья очень быстро перед ним сомкнулись,

почти стеной; старый погиблый сухостой из-за тесноты не мог упасть и висел на целых еще деревьях, а валежник, переплетенный молодой порослью и сухой травой, лежал выше человеческого роста, и продраться сквозь него не было никакой возможности. В ноздри шибал густой и терпкий запах прели и древесного гнилья. Солнечный свет почти не пробивался, и темно было, как в подполье.

Нет, не одолеть!

Егорка сглотнул тягучую слюну, передернул плечами, и по спине у него, словно в лютый мороз, проскочили гусиные пупырышки. Страшно стало. Тяжело, медленно, словно на ногах у него висели кандалы, Егорка отступился от бурелома, добрал до лиственницы, возле которой все еще стоял и жарко молился Пругов, повернувшись лицом на восток; добрал и рухнул плашмя на землю, зарылся лицом прямо в сухую хвою, чтобы скрыть злые и отчаянные слезы.

Не слышал он, как подошел к нему Пругов, ощутил лишь внезапно сильный рывок, который оторвал его от земли, вздернул вверх и поставил на ноги. Увидел он перед собой, подняв голову, горящий взгляд Пругова и услышал его звенящий голос:

– На все воля Божья, Егорий. Слезы не точи, а вверх себя в Его волю. За страдание – воздастся. Там, – он выкинул руку и показал в сторону Кедрового кряжа, – там – благодать! Пошли...

Пругов повернулся и пошел прочь от лиственницы, твердо и уверенно попирая землю ногами. Будто и не было долгого и тяжелого пути, бескормицы и гнуса, разьевшего в кровь лицо, – бодро, сноровисто шагал старOVER, огибая стороной кромку непроходимого бурелома. И только сейчас дошло до Егорки: он ведь не наугад идет, Пругов, он потому столь уверенно шагает, что ведома ему дорога, бывал он в этих местах. И эта догадка, явившаяся к Егорке, придала новых сил. След в след поспешал за старOVERом, упирался взглядом в широкую спину, маячившую перед ним, и готов был сейчас хоть одним пальцем молиться – только бы спастись, только бы добраться до тепла, еды и отдыха. Не до благодати было ему, а быть бы живу... На длинном пути, который прошли они от каторги до кряжа, Егорка не раз пытался завести разговор с Пруговым, пытаясь разузнать и выведать: кто он таков, его спутник, по какой причине сбежал с каторги, и еще о многом хотелось спросить, но старOVER, не отвечая, просто-напросто молчал, словно нес в своей широкой груди сокровенную тайну и доверять ее никому не собирался.

А сплошной бурелом все тянулся бесконечной лентой, и не было в нем даже узкого прогала или совсем уж крохотной щелки. Вот как случается, удивлялся и усмехался одновременно Егорка, – в форточку, оказывается, проскользнуть легче, чем продраться через древесные завалы.

Впереди замаячила маленькая ложбина, в исток ее выходил из-под бурелома каменный язык, тоже чуть вогнутый. Пругов прибавил шагу, достиг каменного языка и остановился перед ним, дожидаясь Егорку. Когда тот подошел, он обернулся и шепотом почему-то, едва различимо, сказал:

– Три испытанья нам, Егорий, осталось. Крепись.

В кровь обдирая спины о сухие сучья, извиваясь, как ящерицы, поползли они по вогнутому каменному языку, который шел по низу бурелома. Егорке было легче, а Пругову – совсем тяжело, но он лишь всхрипывал, когда сучья впивались в тело, и упрямо полз вперед, не давая передыха ни себе, ни Егорке.

Время будто остановилось. Сколько ползли и какой путь одолели – неизвестно. Только когда выбрались из-под бурелома, увидели: близкое, чистое небо над головой украшено крупными звездами. Выходит, они почти целый день ползли. Но это уже нисколько не трогало, потому что их сразу же сморил сон и они уснули прямо на камнях, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой.

Утром, когда проснулись, стали осматриваться: перед ними, вздымаясь вверх между отвесными и высокими выступами, тянулась, будто извилистая река, каменная осыпь. Они пошли вверх по ней, рискуя в любой момент свернуть себе шеи, замирая от страха – лишь бы не сорвался сверху дурной камень и не обрушил бы на них камнепад. Тогда уж точно – верная смерть.

И еще один день положили они на каменную осыпь.

Оставалось третье испытание.

Узкая тропа круто брала разбег и уходила вверх. С одной стороны – скала, прямая и ровная, как выстроганная доска, макушка ее терялась в беленьких облаках; с другой стороны – такой же прямой и ровный обрыв, уходящий, казалось, в преисподнюю, дна не видно. А сама тропа была настолько узка, что на нее боязно было взойти. Но Пругов шагнул и двинулся, чутко сторожа каждый свой шаг. Егорка – следом за ним.

Они поднимались все выше и выше, но макушка скалы, скрытая облаками, оставалась по-прежнему недостижимой. В какой-то момент, прижимаясь спиной к прохладному камню, Егорка остановился, чтобы перевести дух, поднял глаза в небо и услышал короткий, как выстрел, вскрик Пругова. Чуть было не дернулся от неожиданности, но удержался, будто влип в скалу. Медленно опустил взгляд: впереди, на тропе, перед ним никого не было. Только косая и легкая тень горного орла невесомо скользила по сероватому камню с красными прожилками.

Долго стоял Егорка, не в силах двинуться дальше, свинцовой тяжестью налились ноги и отказывались повиноваться. Тогда он осторожно опустился на колени, вытянулся на тропе во весь рост и пополз...

14

Худющий, голоднющий, с одичалым взглядом опухших глаз, в рваных ремках вместо одежды, грязные космы торчат во все стороны, борода чуть не до пупа, лицо скукожилось в сплошной коросте – вот в каком обличии спустился Егорка с горной тропы в тихую и красивую долину, посредине которой, на берегу стремительной речки, стояла уютная деревня. Десятка три крепких изб вытянулись в одну улицу, и над крышами белесыми столбиками покачивались домашние дымы.

На краю деревни Егорку сразу же переняли несколько мужиков, отобрали топорик, заглянули в пустую холщовую сумку, в которой ничего не было, даже хлебной крошки, и отвели, ни о чем не спрашивая, в отдельно стоящую избу. Егорка тоже ничего не говорил: сил у него не было. Подчинился безмолвно и шел, куда вели.

А дальше начались чудеса. Ему дозволили помыться в бане, взамен рваных ремков обрядили в чистые штаны и рубаху и снова отвели в избу, где накормили и даже налили полную глиняную кружку пенной браги, от которой Егорка сразу же охмелел и уснул прямо на широкой лавке, подтянув к тощему животу исцарапанные колени.

Продолжалась такая жизнь ровно два дня. Егорку по-прежнему ни о чем не спрашивали, не разговаривали с ним, а сам он, наевшись и выспавшись, выбрался на крыльцо, еще раз, теперь уже не торопясь, обстоятельно оглядел округу и задохнулся от ее красоты. Вот уж воистину – благодать!

«Наизнанку вывернусь, землю буду жевать, – в отчаянной решимости думал Егорка, – все равно упрошу, чтобы здесь оставили. На коленях выползаю!» Ему вспоминалась каторга, высокий забор острога, страшный путь, пройденный с Пруговым, смертельно узкая горная тропа, и он вздрагивал, как от ледяного озноба, не желая заново все это пережить.

Приглядывали за ним два широкоплечих парня, под просторными рубахами которых угадывались крепкие и мускулистые тела – с такими не забалуешь. Эти парни и сдернули его, разомлевшего, с крыльца, когда увидели, что идет к избе высокий седобородый старик. Был он прямым и сухим, как палочка, на которую опирался. Тоненькие, в былку высохшие ноги подрагивали, но голову старик держал величаво, и тонкий, заострившийся нос торчал из бороды, словно клюв грозной птицы. Парни уважительно склонили головы, а Егорку словно молнией жигануло, в одно мгновение сообразил хитрован, что ему следует делать. Порхнул старику навстречу, бухнулся на колени и пополз, оставляя за собой на песке две глубокие и извилистые борозды. Голосил, не жалея горла:

– Отец родной! Не оставь! Дай душу спасти! Отчаялся в миру жить, благодати хочу обрести! Не прогоняй, отец родной, верным слугой стану! Ноги тебе буду мыть и воду пить!

Истово, искренне базлал Егорка. От страха и отчаяния приходили ему на ум такие слова, которых он, кажется, и не знал никогда и уж точно никогда их не произносил. А тут так складно кричал, будто по воде брел.

– Охолони! – старик упер палочку в плечо Егорке, будто не желал, чтобы тот дополз до него вплотную, и еще раз повторил молодым и звонким голосом: – Охолони! Не на торжище... Да и я не глухой. Спрашивать буду – отвечай как на духу.

Егорка поднял голову и поежился под холодным и острым, словно заточенное лезвие, взглядом. Глаза у старика, как и голос, были молодыми и поблескивали. И еще раз пронзило Егорку – понял мгновенно, что врать ему ни единым словом не следует: старик сразу же поймет, где он лукавит. Поэтому и выложил всю правду, ничего не утаил. Когда замолчал, старик убрал от его плеча палочку, оперся на нее, постоял молча и, поворачиваясь к Егорке спиной, уронил:

– Живи пока. Поглядим...

И началась у Егорки новая жизнь.

Община староверов, которой сурово и властно управлял Евлампий, тот самый старик, в ногах у которого валялся Егорка, не сразу и не полностью приняла чужого человека, хотя разрешили жить в той самой пустой избе, где он обитал в первые дни, снабдили едой и определили в работу – пасти деревенское стадо. Но держали его на отшибе – в долгие разговоры не вступали, бабы и девки даже отворачивались, прикрываясь платками, на общие моления не звали, однако и враждебности, даже скрытой, Егорка на себе не ощущал. Присматривали за ним, время от времени наведываясь то в избу, то на луг, где он пас коров, все те же два парня, Мирон и Никифор. У Егорки хватило ума не лезть к ним с расспросами и не любопытствовать, вспомнил вовремя мудрое присловье – что одной любопытной бабе по имени Варвара оторвали язык, чтобы она добрым людям не досаждала. Хотя очень хотелось спросить о Пругове: он что, отсюда, из этой деревни, или наслышан был о тропе? Но не спросил. Помалкивал и жил, как велели; подчинялся безропотно, понимая, что никакого окончательного решения Евлампий не принял и к нему сейчас просто-напросто приглядываются.

И он тоже приглядывался, внимательно наблюдая за неторопким, размеренным течением жизни у староверов. Многое Егорке, вчерашнему вору и каторжнику, было в диковинку. Встретил человека на улице – поклонись ему в пояс, задумал новое дело – опять поклонись старшему и благословение попроси на это дело, пусть оно и самое пустяковое. Пьяными никого из староверов ни разу не видел. И еще дивился: народ здесь был, как на подбор, рослый, крепкий, румянощекий и сильный. А уж девки у староверов, как ему удалось разглядеть, – овощ спелая, дотронься рукой – сок брызнет! Но потаенные и охальные мысли, которые полезли ему в голову, когда он отъелся, Егорка отгонял от себя, как кусучий овод. Тоже понимал: с этим делом, прелюбодейным, здесь строго. Еще неизвестно, что у них на уме, у тех же Мирона с Никифором, не приведи бог разозлить их – при такой силище им Егоркину голову свернуть – все равно что высморкаться.

Тихая осень между тем все ближе клонилась к зиме. Сначала по утрам стали наваливаться молочные и непроглядные туманы, затем засеребрился на пожухлых травах иней, а следом и первая снежная крупа посыпалась. Правда, жизнь у нее выдалась совсем короткая, до того часа, как из-за гор выглянуло солнышко, все еще яркое и теплое. Стадо, как ему велели, Егорка по-прежнему выгонял на ближайший луг, где забирался на какой-нибудь каменный валун и смотрел, чтобы чья-нибудь бойкая коровенка не убрела к каменному обрыву горной речки или не затерялась бы в густом ельнике, который густой и темной щетиной подступал к лугу.

Служба была не сильно хлопотной, а вся жизнь в староверческой деревне становилась Егорке все больше по душе. Еще внимательней приглядывался он к порядкам староверов и убеждался, что ничего диковинного в них нет: молятся люди своему Богу, живут, как им хочется, не грызут друг друга, работают и радуются – вольные! Нет над ними начальства, и никто им, кроме Евлампия и собственных законов, не указ. Нет, не зря так стремился сюда Пругов, называя здешнюю жизнь благодатью. Не зря.

В один из вечеров в избу прибежал Мирон и торопливо известил:

– Пошли, Евлампий зовет.

Егорка как был в одной рубахе, так и выскочил.

Жил Евлампий в отдельной избе, которая стояла последней в деревенском ряду. Со страхом перешагнул Егорка высокий порог и замер, склонившись в низком поклоне. Ловил чутким носом застоялый, чуть кисловатый запах – будто бы плесенью припахивало.

– Разгибайся! – услышал он звонкий голос Евлампия. – чай, не складень.

Егорка поднял голову. Евлампий прямо, не горбясь, сидел на широкой деревянной скамейке, вышорканной и вымытой до живого желтоватого цвета, и будто пронизывал насквозь острым взглядом. За спиной у него, вдоль глухой стены, прибиты были деревянные полки, а

на них лежали толстые книги в обремкавшихся кожаных переплетах, темные от времени и – так Егорке показалось – грозные, как сам хозяин. Много книг.

– Решили мы твою судьбу, – заговорил Евлампий, не спуская с Егорки пронзительного взгляда, – и дальше жить разрешаем, только на отшибе. Годик-другой поживешь, а там посмотрим... Ступай.

Егорка еще раз поклонился, попятился задом и так, не разгибаясь, выбрался из избы, прикрыл за собой тяжелую дверь, ведущую в сени, и истово перекрестился, сложив, как это делали староверы, два пальца правой руки.

Искренне перекрестился, от всей души.

15

Зима в долине легла сразу и надолго. Снегу в деревне навалило – по самые крыши. Правда, морозы особо не злобились, мягкие стояли, ровные – в самый раз для Егорки, которого определили в новую работу: теперь он на реке чистил проруби. Долбил пешней¹⁰ толстый лед, вычерпывал куски льда, а еще содержал в порядке узкую дорогу, ведущую от деревни к берегу: трудился, как муравей, старательно отработывая еду, жилье и приют.

В деревне к нему стали понемногу привыкать. Здоровались при встречах, а иногда даже и перекидывались словом. Мирон и Никифор больше уже не сторожили его, просто время от времени заглядывали в избу, чтобы сплести на досуге немудреный разговор. Из этих разговоров Егорка узнал, что парни здесь – самые знатные и удачливые охотники, что ждут они не дождутся, когда получат благословение от Евлампия и отправятся в самый дальний край долины, где у подножия Кедрового кряжа стоит стеной сплошной кедровник и где белки и соболя столь много, что при желании и проворстве их можно палкой бить. Да только в этом году Евлампий медлит с благословением и по причине, парням неизвестной, на охоту их не отправляет. А они без охоты – как без еды, потому и печалются.

Зима между тем на вторую половину переваливала, а благословения парням все не было. Прошло еще время и стало ясно, что его не будет вовсе. Какая охота, когда на солнечной стороне ударила с крыш первая капель...

У Егорки – новая работа. Долбить большими кусками лед на речке. Куски эти на волокушах тащили в деревню и спускали в погреба, чтобы там все лето было холодно и молоко, квас, мясо и прочий продукт не прокисал. Егорка старательно долбил лед, набивая черенком тяжелой пешни костяные мозоли на ладонях. Дух перевел, когда навалилось тепло, а по бокам узкой и плотно притоптанной за зиму дороги осел снег, покрывшись хрусткой коркой. До самого выгона стада на луг Егорку больше ни в какую работу не впрягали, и он наводил порядок в своей избе: обмазывал печку, мыл стены, закоптившиеся за долгую зиму, старым березовым венником скоблил полы и так старательно обиходил свое жилище, что узнать его не мог – светло, просторно, будто сама изба раздвинулась.

И еще слаще показалась Егорке жизнь у староверов.

Обломилась же она одним махом.

Не иначе как снова бес за левым плечом постарался.

В начале лета, в тихий и светлый вечер, явились в избу Мирон с Никифором и сообщили, что призывает их к себе Евлампий, в сей же час, без промедления. Так они к нему и прибыли – бегом. Толкая друг друга в тесном дверном проеме, перешагнули через порог и встали, отвесив поясной поклон.

За зиму Евлампий еще больше усох, кожа на руках потемнела, как листы в старых книгах, но острый взгляд пронизывал, как и раньше, насквозь, а нос, похожий на клюв, торчал из белой бороды по-прежнему грозно. В избе властвовал все тот же кислотатый, застоялый запах. Евлампий сидел на лавке и опирался двумя руками на тонкую палочку, словно боялся без этой опоры завалиться на бок. Рядом с ним лежал большой лоскут кожи, свернутый в трубку и перевязанный залоснившимися веревочками. Евлампий, не отрывая взгляда от парней, стоявших у порога, нашарил вздрагивающей рукой кожаный свиток и, помолчав, сказал:

– Мирон, подойди, прими чертеж.

Мирон почтительно приблизился, взял двумя руками свиток и замер, не зная, куда ему следует шагнуть.

¹⁰ Пешня – острый железный лом с деревянным черенком.

– Садись, – показал на лавку Евлампий, – и вы присаживайтесь. Через два дня в дорогу отправитесь. Идти вам следует в конец долины, до озера, – Мирон и Никифор быстро и тревожно переглянулись, Евлампий заметил этот тревожный перегляд парней и продолжил: – Знаю, что никогда в той стороне не были, потому и чертеж вручаю, там все проходы указаны. Чертеж пуще глаза берегите. Беда будет, коли он в чужие руки попадет. Доберетесь – оглядите все и разузнайте. Пришлые люди объявились. Откуда они и кто такие – неведомо. И вы перед ними не раскрывайтесь и не показывайтесь. Со стороны посмотрите, украдкой послушайте и обратно возвращайтесь. Если ненароком схватят вас, молчите каменно, намертво молчите. Вижу я, сердцем вижу: худые люди к нам в соседи пожаловали. Благословляю вас, детушки...

Евлампий тяжело поднялся на тонких вздрагивающих ногах, выпрямился, горделиво вскинув голову, и осенил всех троих, не исключая Егорку, двуперстием. А когда снова опустился на лавку, коротко добавил:

– За старшего Мирон будет. Послушаться ему, как мне. Теперь ступайте. На сборы вам два дня будет.

Через два дня, рано утром, когда солнце из-за горы еще не поднялось, а только окрасило острую макушку розовым светом, они выехали из деревни. Под каждым был добрый конь, еще одного, на котором уложили большие переметные сумы, вели в поводу. Все три всадника – при ружьях, в доброй дорожной одежде – основательно, без суеты собирались в долгий и нелегкий путь, ничего не забыли, даже чистые тряпицы лежали в суммах, на тот случай, если потребуется рану перевязать.

Миновали луг, на котором еще недавно Егорка пас коров, втянулись в густой ельник, лежащий у подножия кряжа, и скрылись в его темно-зеленой глубине, будто растаяли!

16

– Голову пригни! Пригни! – Мирон махнул рукой, оборачиваясь назад, и сам сник над конской гривой, натягивая узду и поворачивая своего каурого жеребца в обратную сторону.

Никифор и Егорка тоже припали к шеям своих лошадей и стали спускаться следом за ним с невысокой горушки, увенчанной большущим каменным валуном, на которую они только что въехали, чтобы осмотреться. Тревога всадников передалась лошадям, и они ставили копыта чутко и неслышно. Под горушкой, в неглубокой низине, обметанной с двух сторон густым кустарником, Мирон спрыгнул со своего жеребца и сообщил шепотом, быстро озираясь по сторонам:

– Люди там. Много людей. Ты, Никифор, оставайся с конями, а мы с Егорием наверх поднимемся, посмотрим. Пошли, Егорий.

Сторожась, оглядываясь по сторонам и выбирая извилистый путь по склону, где трава была выше и гуще, они ящерицами проползли на горушку и залегли возле каменного валуна. От него, расположенного на самом солнцепеке, пыхало жаром, словно от печки. Егорка полужал не двигаясь, смахнул со лба пот и осторожно выглянул, прислонив ладонь козырьком ко лбу – солнце слепило прямо в глаза.

Вот, оказывается, ради чего ломались они в тяжелом пути, одолевая каменные осыпи, опасные подъемы и спуски, продираясь через густые заросли кустарника и высокой, в рост, травы. Для того чтобы полюбоваться на картину, которая открылась перед ними под ярким и жгучим солнцем во всей своей четкости: два мужика косили сено на небольшом луже возле круглого, как блюдце, озера. А сбоку от озера, примыкая к нему вплотную, тянулся полукругом глухой и высокий заплот, сложенный из толстых пластин. За заплотом видны были длинные и приземистые строения: избы не избы и казармы не казармы, а что-то непонятное. И только приглядевшись, можно было догадаться, что строения, поставленные почти вплоты друг к другу, образовывали своего рода укрепление. Вместо окон во внешних стенах были прорезаны маленькие бойницы. Деревянная крепость, да и только.

Возле строений шла жизнь. Сновали люди, издали похожие на муравьев, занимались, как в любом большом хозяйстве, обыденными, простыми делами: пилили и кололи дрова, складывая их в длинную поленницу, метали в стога сено, подтаскивая его с луга прямо в копнах, вкапывали в землю высокие столбы, соединяли их поперечными бревнами, и нетрудно было догадаться, что возводится караульная вышка.

Нехорошее предчувствие ворохнулось у Егорки под сердцем. Не верил он мирной картине, которую видел перед собой. Караульную вышку зря ставить не будут...

– Егорий, слышишь меня? – шепотом позвал его Мирон.

– Слышу, – также шепотом отозвался Егорка.

– Уводите с Никифором коней к ручью, там, где кусты погуще. Помнишь, ручей переезжали? И ждите меня. Я до вечера здесь погляжу, а как стемнеет, попробуем ближе подбраться – может, чего услышим...

Егорка отполз от валуна и по старому следу стал спускаться к изножью горушки. И спустился уже, выпрямился во весь рост, чтобы скользнуть к кустам, в которых сидел Никифор с конями, шагнул и – не достал земли, будто ее вышибли из-под ног. В одно мгновение руки оказались завернутыми за спину, в рот влетел кляп, смотанный из жесткого конского волоса, а голову накрыла плотная, вонючая тряпка, будто в старый мешок сунули, в котором раньше гнилье лежало. Так это быстро и без единого звука произошло, что Егорка не успел даже охнуть. Только кряхтел, чувствуя себя в крепких и жестких руках, словно в кандалах, а еще догадывался, что его куда-то торопливо, наверное, бегом, несут, встряхивая время от времени и перехватывая еще крепче.

Кажется, донесли. Опустили на землю, поставили на колени и сдернули с головы тряпку. Егорка ошалело вскинул голову: стояли вокруг него с десяток мужиков. Все, как на подбор, бородатые, широкой кости, и все с той особой печатью на лицах, которая проявляется после тюремных и каторжных отсидок. Глаз у Егорки был наметан, он сразу догадался – какая такая почтенная публика его стреножила.

И точно.

– Елочки-метелочки, палочки точеные! Да это же, ребята, Таракан попался! Собственной персоной! Здорово, любезный! Ты откуда приполз?

Егорка моргнул маленькими своими глазками и увидел: растопырив длинные руки, двигался к нему, припадая сразу на обе ноги, высокий, сутулый мужик с рыжей, клочковатой бородой. Над левым глазом у него дергалась лохматая, кривая бровь, пересеченная глубоким шрамом. Эту дергающуюся бровь, которая наводила страх и ужас на всех сидельцев в Тюменском тюремном замке, Егорка на всю жизнь запомнил. Ванька Петля – вот кто шел, растопыривая руки и загребая песок носками кривых ног, тот самый Ванька Петля, про которого говорили: мамку родную зарежет и не поморщится, только бровью подмигнет.

– Ну, здорово, Таракан, – Ванька присел перед ним на корточки, вытянул длинную клешнястую руку и положил ее Егорке на плечо. Рука была тяжелая и цепкая.

– Здорово, Ваня.

– Какими ветрами к нам занесло?

– Попутными.

– Ладно, попутными так попутными... Смотри, Таракан, как бы тебя эти ветерки не продули. Кровяными соплями чихать будешь, если с худым умыслом здесь объявился.

– Да я, Ваня, не по своей воле, с каторги я утек, – заторопился, скороговоркой произнося слова, Егорка, но Петля его оборвал:

– Не сикоти, под нож тебя еще не поставили, – обернулся, отрывисто спросил: – Цезарю сказали?

– Сказали, – доложил кто-то из мужиков, – велено в темную запереть.

– Тогда веди.

Егорку вздернули с земли, утвердили на ногах и повели к одному из строений. Послушно и торопливо шагая, Егорка успел еще услышать голос Петли:

– А тех двоих взяли?

– Взяли, едва одолели, здоровые, как быки, – ответил кто-то Петле и стал говорить дальше, видно, рассказывал обстоятельней, но Егорка уже не расслышал. Перед ним раскрыли тяжелую дверь, одним взмахом ножа рассекли веревку на руках и втокнули в темную, без окон, каморку. Дверь за ним глухо стукнула, и звонко лязгнул железный запор.

– Поганое ведро в углу, – пробасил кто-то хриплым голосом, – сам найдешь. А не найдешь – в портки клади.

И захохотал.

Прислонясь спиной к стене, Егорка опустил на корточки, стянул с рук остатки веревки. Затекшие ладони будто десятки иголок пронзили. Он сцепил пальцы в замок и в отчаянии начал стучать себя в лоб. Это надо же так вляпаться! Словно в кучу дерьма задом сел! Прости-прощай теперь спокойная, сытая жизнь, и добрые коровки на цветистом лугу прощайте. Ничего хорошего от людей, среди которых был Ванька Петля, он не ожидал. О Мироне с Никифором не думал – своя судьба и своя шкура заботили. Егорка опустил руки и лег ничком на сухой, шершавый пол, но тут же вскинулся и пополз вдоль стены, лихорадочно ее ощупывая: может, какая щелка... Но бревенчатые стены стояли – намертво. И пол, сбитый, похоже, из толстых плах, был сколочен на совесть – не то что щелки, даже малого зазора не имелось. Только и нашел Егорка деревянное ведро, из которого воняло, как из нужника. Тогда он вытянулся на спине, затих и сам не заметил, как уснул.

Разбудил громкий стук в дверь. Егорка, вырываясь из сна, поднял голову, прислушался. Из-за двери донесся голос Петли:

– Таракан, чего не отзываешься? Помер или живой?

– Живой, – Егорка подвинулся ближе к двери.

– Слушай меня, если дальше жить хочешь. Скоро тебя к главному здесь поведут. Будет про староверов спрашивать. Рассказывай, как есть. И не вздумай перечить, у него рука легкая, легче моей – смахнет голову саблюкой, и никуда ты, Таракан, не уползешь. Смекай. Я по старому знакомству предупредил, а ты смекай.

Звук шаркающих по земле шагов отдалился, замер. Егорка снова лег на пол, и его снова мгновенно одолел тяжелый сон. Вот напасть! Ему бы горькие думки думать, волосы на голове рвать, а он – как маковой воды опился, дрыхнет и видит один и тот же, бесконечно длинный сон: цветистый луг, а по нему коровки ходят. Тихие, смирные, и важно так ходят, словно плывут поверх травы и цветов...

Как открылась дверь, он не услышал, вскочил, когда получил крепкий пинок в живот. Два дюжих мужика завернули ему руки за спину, связали и вывели из каморки. Не дав оглядеться, погнали тычками в шею к соседнему строению. Низкое крыльцо, дверь, узенький проход, еще одна дверь – и Егорка, торопливо перешагнув порог и вздернув голову, обомлел: перед ним, на высоком деревянном кресле, украшенном витиеватыми узорами, важно восседал, словно на царском троне, генерал. В жизни своей Егорка генералов никогда не видел, но тут его будто озарило: генерал! Настоящий! А на нем мундир с орденами, эполеты на плечах с витыми золотыми висюльками и сабля с блестящей золотой рукояткой в ножнах, отделанных серебром. Сам генерал был еще молод, но грозен: темные брови угрюмо сведены над переносицей, взгляд из-под них злой, а небольшие черные усики топорщились, как у кота, который готов вот-вот зашипеть. За спиной у генерала стоял маленький и горбатый мужичок в длинной, почти до пола, серой рубахе, которая напоминала поповскую рясу. Мужичок умильно улыбался, глядя на Егорку, и облизывал языком толстые, прямо-таки конские, губы.

– Ну, рожа твоя каторжная! – рыкнул генерал. – Рассказывай!

– Я... – Егорка запнулся, не зная, что ему говорить и о чем рассказывать.

– Ты! Ты! – еще громче зарычал генерал. – С каторги утек? Утек. Со староверами связался? Связался. По всем статьям получается – незаконный ты человек! Закую тебя в железные браслеты и отправлю по старому адресу. Нравится?

– Я... – Егорка снова запнулся, будто за высокий порог зацепился и грохнулся, – я...

А дальше – как заколодило.

– Крышка ты от Прасковьи Федоровны!¹¹ – расхохотался генерал, и весь его грозный вид испарился, словно в один миг поменяли человека. Молодой, красивого обличия мужик сидел теперь на узорном кресле и от души, задорно смеялся. Мундир и сабля не пугали – наоборот, когда он расхохотался, они показались совсем неуместными здесь, в полной глухомани, и Егорка, чуть придя в себя, понял, что генерал перед ним – ряженный. Какие у настоящего генерала могут быть дела с Ванькой Петлей? Смешно!

Но догадка эта не обрадовала, а придавила Егорку еще большим унынием. Настоящих генералов он не знал и не видел и поэтому мог еще надеяться на какую-то милость, а вот Ваньку Петлю знал распрекрасно, и надеяться было не на что.

– Ладно, посмеялись, и будет, – генерал легко и пружинисто соскочил с кресла, не оборачиваясь, протянул руку: – Бориска, подай карту.

Горбатый мужичок извлек откуда-то из глубин длинной рубахи кожаный свиток и вложил его в раскрытую ладонь генерала. Егорка свиток сразу признал – тот самый чертеж, который

¹¹ Прасковья Федоровна – тюремная бочка для нечистот.

вручил Евлампий с наказом беречь пуще глаза. Вручил Мирону, а тот, видно, ни спрятать, ни выбросить не успел.

Генерал раскатал свиток на столе, пальцем поманил Егорку:

– Двигайся сюда. Показывай, как и где шли.

И так он это уверенно и деловито сказал, будто команду отдал, что Егорка без промедления подскочил к столу и уставился на чертеж, готовый все рассказать, только показать не мог – руки были связаны.

– Развяжи, – приказал генерал Бориске.

Тот развязал тугие узлы и встал за левым плечом у Егорки.

Выспрашивал генерал досконально. Егорка так же досконально и старательно все объяснял и показывал, ведь Мирон чертеж не прятал и они, выбирая путь, втроем не раз склонялись над ним.

– Цезарь, – вдруг подал голос Бориска, – а ты шибко ему не верь. Ему, каторжному, сбрехать – все равно, что чарку опрокинуть.

– Да нет, – возразил ряженный генерал, у которого, как оказалось, и имя-то было странное, тоже как бы не настоящее – Цезарь. – Он парень хороший, смекалистый и все понимает. Поэтому и врать не будет. Ему еще жить хочется. Жить-то хочешь, каторжный?

Егорка с готовностью кивнул.

– Вот и ладно. Теперь слушай. Сейчас мы тебя отпустим. Доберешься до своего старца и доложишь ему: теперь я, генерал Цезарь, хозяин здесь. И мне не нравится, что старец своих лазутчиков подсылает. Если хочет разговаривать и любопытство имеет, пусть сам приезжает. Встретимся и поговорим. А эти два орла-лазутчика, которые с тобой были, пока у меня погосят. До приезда вашего старца. Все понял? Не перепутаешь? Ну-ка, повтори.

Егорка повторил услышанное.

– Вот и молодец, – похлопал его по плечу генерал Цезарь. – Проводи его, Бориска.

Солнце слепило глаза. Егорка прищурился и ничего перед собой не видел – одни цветные кругляши прыгали. Не верилось, что его целым и небитым выпустили за ворота и даже вернули коня, на котором он сейчас и отъезжал от странного поселения, ожидая всем своим существом выстрела в спину. По хребту даже холодные мурашки проскакивали.

Но в спину ему не выстрелили.

Он миновал знакомую горушку, под которой его так ловко и быстро стреножили, миновал ручей и кусты, где Мирон собирался укрываться, миновал небольшой лужок, усыпанный цветами, а дальше пустил коня в полный мах, едва сдерживая себя, чтобы не заорать во все горло: живой!

Обратный путь до деревни староверов дался Егорке с великими трудами. Конь его на каменной осыпи сломал обе передние ноги, и пришлось бедной животине перерезать горло, чтобы не мучилась. Дальше шел пешком, несколько раз сбивался с дороги, намучился – по самые ноздри. Когда же увидел знакомый луг за деревней и родных коровок на этом лугу, не выдержал – лег на землю и прослезился.

17

Евламий молчал и слушал, устремив свой режущий взгляд поверх Егоркиной головы, в потолок смотрел, ввысь, словно разглядывал нечто такое, что видимо было только ему. Крупные руки, усохшие, с выпуклыми синими жилами, лежали на палочке, о которую он опирался, и пальцы заметно подрагивали.

Егорка закончил свой недолгий рассказ и переступил с ноги на ногу, обмирая от страха до липкого пота, замер в боязливом ожидании: какие слова сейчас скажет старец? И Евламий сказал. Тихо и негромко, словно тяжелую боль из себя выдавил с протяжным вздохом:

– Гораздый ты врать, пес шелудивый. Не хватило силы молчать, все разболтал, дорогу показал по чертежу нашему. Приютили мы тебя, поили, кормили, а ты... – Евламий передохнул и звонко, оглушительно выкрикнул: – Пес! Пес поганый!

– Отец родной! – Егорка со стуком обрушился на колени. – Ни словом перед тобой не соврал! Истинно так было, как рассказываю!

Евламий перехватил палочку, ткнул ей Егорку в плечо, снова крикнул:

– Обернись!

Даже позвонок хрустнул – так Егорка стремительно повернул голову. И сник, будто травяной стебель, переломленный у самого основания. За спиной у него, неслышно появившись, стоял Мирон. В ободранной одежде, исхудалый, будто его обтесали, и так избитый, что вместо лица маячил в полутьме избы сплошной синяк. Рука, замотанная грязной тряпицей, висела на перевязи. С большим боем, видно, вырывался парень из своего неожиданного плена.

– Мирон... – Егорка пополз к нему на коленях, но Евламий снова ткнул его палочкой и осек:

– Замолчь!

Мирон отшагнул в сторону, толкнул дверь, и она широко распахнулась, впуская мужиков, которые стояли на крыльце. Они молча вздернули Егорку с пола, вытащили его на улицу и скорым шагом повели к берегу речки. «Утопят!» – охнул Егорка.

Но топить его никто не собирался. С ним по-иному обошлись. Быстро и немудрено. У берега, на быстрой, текучей воде, покачивался маленький плотик, связанный из мелких бревешек. На этот плотик, будто на пуховую перину, Егорку и уложили, прихватив веревками руки и ноги. Длинным шестом оттолкнули плотик от берега, и слышно было, как кто-то из мужиков сказал:

– Пускай о нем Господь печалится...

Река, возле деревни еще довольно широкая и спокойная, дальше стремительно съеживалась, вскипая белыми бурунами, как кипяток в чугуне, вздымалась всей мощью и силой и билась в узком створе между двумя высокими каменными берегами. Егорка увидел высокое небо с реденькими белесыми облаками, разинул рот, чтобы крикнуть, и подавился: плотик, угодив в тугую воронку, ушел под воду. Но его тут же вынесло и потащило дальше, встряхивая на крутой волне и бросая из стороны в сторону, словно телегу на глубоких ухабах. Небо, облака, каменный срез высокого берега и – темная, зеленая вода. А затем – спасительный глоток воздуха и новая водяная яма, в которую падал плотик так стремительно, что пронзало судорогой. Егорка даже не успевал крикнуть от ужаса и отчаяния.

Несколько раз плотик со стуком проскакивал по верхушкам подводных камней и бревешки больно били в спину, словно хотели переломать Егорке хребет еще до того, как он захлебнется и утонет. Сама смерть летела рядом по горной реке, припадала к человеку, распластанному на плотике, но медлила, черная, желая вволю натешиться.

Егорка дергался руками и ногами, но мокрые веревки держали крепко, а сил оставалось все меньше. И вдруг, когда с крутой и высокой волны бросило вниз, он взвыл от страшного

удара, захлебнулся водой, рванулся и спиной ощутил, что бревна плотика под ним рассыпались. Руки и ноги были свободны. Егорка вынырнул и с такой силой, внезапно прорезавшейся в нем, замолотил руками, на которых болтались обрывки веревки, что даже различил в сплошном шуме реки, как ладони шлепают по воде.

На последнем издыхании Егорка вырвался из стремнины. Увидел перед собой кусок пологого берега и уже почти в беспомощности ощутил под ногами каменное дно. Вылетел на берег и бросился бежать прочь от реки. Но жгучая боль пересекла живот, кинула его на траву и скрючила в три погибели. Егорка мычал, отплевывался, обливался слезами от этой боли, рвущей его на части, и даже не чувствовал, как по ногам, охолодавшим от ледяной воды, течет тепло – его хлестал, выворачивая наизнанку, жестокий понос.

18

К вечеру он мало-мало пришел в себя. Прополоскал в речке штаны, вымылся сам и, голый, улегся на плоском камне, нагревшемся за день на солнце. Смотрел в небо, по которому плыли все те же реденькие белесые облака, и радость, которая его охватила, когда понял, что остался жив, стала быстро истаявать. Куда теперь? К староверам ему ходу не было. Привяжут еще раз к плоту, теперь уже покрепче, и пустят вниз по речке: пускай Господь печалится... Добираться до ряженого генерала Цезаря и проситься у него на разбойную службу не лежала душа. Оставалась, как в сказке, еще третья дорога, но Егорка про нее даже думать боялся: при одном воспоминании об узкой горной тропе душу стискивала холодная тоска. Правда, догадывался он, что есть через Кедровый кряж другой путь, ведь коров и коней, которые в изобильном количестве имелись у староверов, через узкую горную тропу не перетащишь, да и люди Цезаря не по воздуху перелетели, вон у них сколько добра всякого. Но где искать этот другой путь? Куда идти? Да и в чем идти, если остались только штаны и рваная рубаха; добрые кожаные сапоги забрала река – он даже и вспомнить не мог, когда из них выскочил...

На ночь Егорка устроился в ельнике, наломав лапнику и сложив себе нехитрое лежище. Переночевал, а утром поднялся и пошел прямо на восход солнца, начертив по памяти прямую тропинку от речки и надеясь со временем выбраться на знакомый путь, который привел бы его к поселению Цезаря. Из трех плохих дорог Егорка выбрал ту, которая показалась чуть-чуть лучше двух остальных. А что еще оставалось делать? Помирать-то ему не хотелось.

В первый же день он в кровь сбил босые ноги, и теперь каждый шаг давался ему с трудом и стоном. Но Егорка, не останавливаясь, шел и шел, намертво стискивая зубы. Через два дня выбрался на знакомые места и даже отыскал след давней ночевки с Мироном и с Никифором: кострище, две рогатины и палка-перекладина, на которую вешали котелок с варевом. Обшарил вокруг траву – может, случайно какой съестной кусок обронули? Нет, не обронули.

По чертежу, как запомнил Егорка, неподалеку должен был течь ручей, к которому они, сберегая время, не стали перебираться через каменную гряду. Теперь же он решил дойти до ручья – может, какую рыбешку удастся выловить: голод придавливал все сильнее, а ягодами забить его никак не удавалось. Егорка поднялся на гряду, осторожно стал спускаться вниз, стараясь ступать на плоские камни, чтобы не ранить и без того покалеченные ноги, и вдруг присел, раздувая ноздри, забыв о боли и кровящих подошвах: он учуял в теплом стоялом воздухе запах дыма.

Пробрался на этот запах, залег под кривой сосенкой и огляделся: внизу поблескивал под солнцем быстрый извилистый ручей, на берегу стоял шалаш, сложенный из жердей и накрытый высушенной уже травой. Возле шалаша горел костер, над которым висел закопченный до аспидной черноты котелок, а в котелке булькала каша. Ее запах кружил Егорке голову. Где же люди? Словно отзываясь на этот безмолвный вопрос, вышел из-за шалаша, твердо ступая по земле тяжелыми ногами, обутыми в бродни, косматый, огромный мужик. В руках он держал старательский лоток. «Аха-ха, – сразу сообразил Егорка, – генеральское войско, по всему видать, еще и золотишко здесь промышляет!» Он даже не сомневался, что одинокий старатель – из той же бражки, что и Ванька Петля. А кто еще здесь мог быть?

Мужик стащил бродни, забросил их на скат шалаша сушиться и, сняв с костра котелок, принялся за еду. Хлебал кашу, выворачивая ее из котелка полной ложкой, обжигался и запивал водой из деревянного ведерка, которое стояло под рукой. Егорка сглатывал слюну, давился и готов уже был спуститься вниз, попросить Христа ради хотя бы крошку этой каши, потому что не было никаких сил терпеть. Но продолжал лежать и не шевелился. Сильнее голода было каторжное чувство опасности. Понимал Егорка, что косматый старатель даже слушать его не станет, а просто убьет и закапывать не будет, в ручье притопит, чтобы землю не ковырять.

И сделать так, по Егоркиному разумению, должен был любой, кто оказался бы на месте одинокого старателя. А как иначе? В таких глухих местах долго выбирать не приходится: кто первый стрелит, тот и жив. Он и сам бы так же поступил, да только ручонки у него сейчас короткие: ни ружья, ни топора, ни ножа не имеется, а с палкой или с камнем на такого бугая кидаться – все равно, что на гранитный валун с высоты вниз головой прыгать.

И он продолжал лежать, дожидаясь своего часа.

Дождлся.

Наевшись, мужик забрался в шалаш и уснул там, оглушительно захрапел. Егорка ящеричей соскользнул вниз, целясь на котелок с кашей – больше ни о чем не думал. Но когда стал подползать к нему, вдруг увидел сбоку шалаша большой сосновый чурбак, а на нем – воткнутый на уголок топор. Хороший, добрый топор на ловком, чуть изогнутом топорище. Егорка зацепился за него взглядом и замер, распластавшись на траве. Справа – котелок, слева – топор. Егорка вздохнул неслышно, набирая в грудь побольше воздуха, и пополз к топору.

Крепко спавший старатель так и не открыл глаза. Только успел фыркнуть по-лошадинному и захлебнулся кровью, хлынувшей из разрубленной наискосок переносицы. Для верности Егорка рубанул еще раз, еще и лишь после этого задом, на четвереньках, выполз из шалаша и бросился к котелку. Зажал его между коленей и пригоршней стал вычерпывать оставшуюся кашу. Засовывал ее в рот, судорожно глотал, не чуя вкуса, а правой рукой все еще крепко сжимал топорище и не видел, как с остро отточенного лезвия срываются и падают беззвучно в траву тяжелые кровавые капли.

Уходил он вверх по ручью, по-прежнему прихрамывая, но шаг его теперь был бодрым и скорым: на ногах – бродни старателя, за спиной – ружье и мешок с крупой, за поясом – топор, а на груди – ощутимо тяжелый кожаный мешочек с золотом на толстой и крепкой, тоже из кожи, веревочке. Хорошо потрудились косматый старатель, хватит на веселую жизнь. Шел Егорка и не оглядывался, а за спиной у него все выше вздымалось пламя, плясавшее на сухой траве и жердях шалаша. Обрушатся они скоро вниз – и останутся от неизвестного человека только пепел да обугленные кости. Размоет их дождями, высушит солнцем, разметет ветром, и ничего не поделаешь – судьба такая.

А самого Егорку, за левым плечом которого, видно, бес задремал и попустился, судьба на этот раз сберегла: он еще раз одолел горную тропу, спустился с опасной каменной осыпи, прополз, в кровь обдирая спину, под буреломом и добрался до Белоярска, где осел в ночлежке у Дубовых и загулял, разодрав до пупа рубаху, отчаянно и безоглядно.

Часть вторая

1

Донесения Коришуна, поступающие с педантичной регулярностью, Александр Васильевич складывал в отдельную папку и держал ее в дальнем углу своего огромной сейфа. Время от времени доставал эту папку, перечитывал бумаги, покрытые мелким, убористым почерком, неожиданно вскакивал с кресла и вышагивал по кабинету, по-петушиному вздергивая голову. Казалось, что он сейчас закукарекает. Но Александр Васильевич стремительно возвращался на место, снова склонялся над бумагами и звонко приговаривал, бесшумно переворачивая листы:

– погоди, дедушка, не помирай, мы за киселем побежали...

Что это означало в его потаенных мыслях, догадаться было невозможно, да он, пожалуй, и сам не знал, просто привязалась на язык старая поговорка, и он повторял ее, постукивая бабшмаками по полу – не мог он подолгу сидеть без всякого движения.

Последнее донесение Коришуна, поступившее вчера, он перечитал несколько раз.

«Милостивый государь, Александр Васильевич!

Удалось выяснить, что шайка злоумышленников существует в реальности. Не брезгуя обычным разбойничьим промыслом, шайка эта, тем не менее создавалась для каких-то иных целей – более серьезных. Местонахождение ее определить пока не удалось; есть предположение, что скрывается она в местах труднодоступных или вовсе не проходимых. Для сбора более точных сведений прошу о следующем:

– установить личность некоего Цезаря Белозерова, предположительно 25–30 лет, его происхождение и прочее;

– дать распоряжение в жандармское управление губернии о предоставлении мне, по необходимости, опытных офицеров для выполнения особых поручений;

– такое же распоряжение о свободном просмотре уголовных дел и сведений о всех происшествиях, случившихся в губернии за последнее время.

Еще прошу о том, чтобы мои просьбы исполнялись более скоро, чем сейчас. Задержка в исполнении создает для меня большие трудности.

Коришун».

Резолюция Александра Васильевича была чрезвычайно краткой:

«Исполнить все!»

Он сложил бумаги в папку, завязал на ней шелковые тесемки аккуратным бантиком и отнес в сейф. Щелкнул большим ключом, закрывая замок, и с ехидцей, обращаясь к самому себе, высказался:

– И дедушка не помер, и киселя не принесли... А что ты, батюшка, Государю станешь докладывать? – Потоптался еще возле сейфа и отчаянно постучал себя казанками правой руки по лбу: – Думай, батюшка, думай, на то она тебе и предназначена, а не только котелок на ней таскать!

Впрочем, котелков он никогда не носил.

2

Всю ночь пластался над Успенкой неистовый ветер, по земле густо хлестал косой дождь и заквашивал на дорогах непролазную грязь. Утром, когда развиднелось, грустное, тоскливое зрелище предстало перед глазами: деревья стояли голыми, в тележных колеях и в лужах толстым слоем лежала листва, обитая за ночь дождем и ветром, а по небу тащились низкие, пузатые тучи, сеяли мелкой, противной моросью. В такую погоду дальше своего двора ни выходить, ни выезжать не хочется. Разве что по большой надобности...

Артемий Семеныч задрал голову, поглядел в небо, надеясь отыскать чистый просвет, вздохнул и принялся натягивать на себя старую, истертую рогожу, чтобы избавиться от водяной пыли, которая промочит за долгую дорогу сильнее ливня. Дорога ему предстояла дальняя – до глухой таежной деревни Емельяновки.

– Артемий Семеныч! – окликнула с крыльца Агафья Ивановна. – тебя когда ждать нонче?

Он сердито мотнул головой и не ответил. Отвяжись, глупая баба. Дорогу загадывать – последнее дело. Шлепнул вожжами по мокрой конской спине и выехал за ворота. Легкая телега врезалась колесами в грязь и покатила, разбрызгивая жидкие ошметья, вдоль по улице и дальше – за околицу, где властвовал над всей округой тяжелый и влажный морок.

Такой же безотрадный морок лежал и на душе Артемия Семеныча, еще с той памятной ночи, когда Анна сбежала из родительского дома. Мало того что перед всей деревней опозорила, непутевая дочь, так еще и доуку родному отцу на шею повесила – девку-иностранку. Беда с этой девкой. Со злости и от расстройства Артемий Семеныч даже скинул с себя рогожу и яростно сплюнул на сторону – чтоб вам всем сквозь землю провалиться! Обтер ладонью мокрое лицо и увидел, что на краю темного, тучами затянутого неба проявилась светлая полоса. Вот и ладно. Может, развидняется, веселее станет, а там... там, глядишь, и прежняя, спокойная жизнь наладится. Он вздохнул, крепче перехватил вожжи, и конь пошел убористой рысью.

Девка-иностранка, которую подстрелил, а затем пожалел и не бросил на краю елани Артемий Семеныч, проживала у него в доме уже больше трех недель. Оправилась от раны, даже щечки зарозовели. Но большие черные глазищи смотрели по-прежнему испуганно, и по-прежнему добиться от нее чего-то вразумительного было невозможно. Лопотала по-своему, размахивала руками, пытаясь рассказать о себе, но Ключихины только и смогли уяснить, что зовут ее Луиза. Неведомое имя сразу переименовали в Лизу, и девка отзывалась, всякий раз показывая на себя пальцем, словно хотела спросить для полной уверенности: меня зовете?

Артемий Семеныч, понимая, что тайное ее проживание в доме долгим не будет, досужие бабы обязательно разносят, – собрал особо доверенных и уважаемых мужиков Успенки и выложил им всю подноготную. Мужики слушали, чесали бороды и дивились: это надо же такому делу случиться! Подумав, решили, что Артемий Семеныч поступил верно: не следует по начальству докладывать. Урядник приедет, допросы начнутся, следствие, а им, успенскому обществу, зачем такая колгота нужна... Но что теперь делать с девкой-иностранкой – не знали, толкового совета не выдали, только хохотнул кто-то:

– А ты, Семеныч, на этой девке одного из парней своих обжени. Ни у кого такой невестки нету, а у тебя – будет!

Артемий Семеныч, уловив насмешку, насупился и хотел уже осердиться, но тут Иван Ноздрюхин, мужик обстоятельный и умный, шлепнул себя ладонью по лбу:

– Совсем забыл! В Емельяновку тебе надо ехать, Артемий Семеныч! У меня кум там, гостил у него по лету, так приходил к нему ссыльный, фамилию забыл, мудреная шибко, вроде как Козлов, только с вывертом... Да он один такой в Емельяновке, любой покажет. Чешет не по-нашему – я те дам! Без запинки. Правда, и пьет без меры; сам махонький, а хлебает –

хоть конское ведро перед им ставь, пока дна не увидит, не успокоится. Прямая тебе дорога в Емельяновку. Привезешь ссыльного, поговорит он с этой девкой, и ясно станет, как дальше плясать.

Против умного совета, а глупых Иван Ноздрюхин никогда не давал, не возразишь. И Артемий Семеныч поехал.

В Емельяновке, добравшись до нее только к обеду, он остановил первого встречного мужика, и тот сразу же показал, где живет ссыльный. Жил тот в маленькой бревенчатой избенке с провислой крышей. Ни крыльца, ни сеней не было, и Артемий Семеныч, толкнув низкие двери, сразу оказался в избенке, где сидел возле окна, облокотившись о щелястый стол, худенький, нахохленный человечек с большущей копной волос на голове, которые торчали во все стороны. На носу у него поблескивали маленькие очки в железной оправе. Артемий Семеныч искал глазами икону, чтобы перекреститься, но увидел в переднем углу только густую, серую от пыли паутину. Крякнул и поздоровался.

– И вам, уважаемый, большущее здравствуйте! – весело отозвался хозяин; легко, почти невесомо, выскочил из-за стола и протянул маленькую, сморщенную ладошку, похожую на птичью лапку. – Позвольте представиться: Козелло-Зелинский, Леонид Арнольдович. С кем имею честь и по какой надобности вы прибыли?

Артемий Семеныч осторожно, даже боязливо – как бы не сломать – пожал протянутую лапку и степенно изложил:

– Из Успенки я приехал, Артемий меня кличут, по батюшке – Семеныч, а по фамилии – Ключихин. Надобность у нас такая, господин хороший... – он помолчал, затем рассказал, что случайно нашли они на краю елани девку-иностранку, а как она там оказалась – неизвестно, и закончил: – По-русски говорить не может, только по-своему, а мы чужого языка не разумеем. Вот и просим, потому как наслышаны, что вам иные языки ведомы...

– Заба-а-вно! В нашей глухомани... А на каком языке она говорит? Итальянский, немецкий, французский, английский? – Стеклышки очков в полутьме избы задорно поблескивали, а вздыбленные волосы на голове Козелло-Зелинского шевелились, будто под ветром.

– Не скажу, не знаю – на каком она языке говорит. Вот и просим, за труды заплатим, если не дорого...

– А водочка у вас имеется?

– И водочку найдем, и закусить, чем богаты...

– Ай, славно! – Козелло-Зелинский шлепнул в ладошки, быстро переступил ножками, словно побежал на месте, и старая, растрескавшаяся половица отозвалась прерывистым скрипом. – Ай, как славно! Поехали!

Артемий Семеныч облегченно вздохнул: когда сюда добирался, готовился к долгим угворам и побаивался, что заломит ссыльный несусветную цену, а вышло – лучше и не надо, про цену Козелло-Зелинский даже не заикнулся.

Морось после обеда исчезла, светлая полоса на небе ширилась, и в округе становилось не так сумрачно. Заметно похолодало, и Козелло-Зелинский засунул ладошки в рукава старенького кожушка, нахохлился и еще больше стал напоминать неведомую, взъерошенную птичку, зябнущую на ветру.

В Успенку приехали уже ночью, в глухой темноте. Но Артемий Семеныч, несмотря на поздний час, приказал Агафье Ивановне накрывать стол – не скупясь, как на праздник. Позвали Луизу, и она, тревожно оглядывая всех темными глазами, осторожно присела на краешек скамейки, замерла.

Козелло-Зелинский весело оглядел стол, плюхнулся на скамейку и потащил проворными лапками все подряд: соленые грибы, картошку, мясо, бруснику, сало, приговаривая при этом:

– Ах, какая прелесть! Ах, какая прелесть! Можно еще водочки плеснуть?

Когда он в третий или в четвертый раз попросил плеснуть водочки, Артемий Семеныч засомневался:

– Ты, мил человек, говорить-то по-иноземному сможешь?

– Я все могу, хозяин! Не скупись!

Хлопнул еще стаканчик, закусил салом и, повернувшись к Луизе, быстро заговорил. Луиза, встрепенувшись, залопотала ему в ответ. Говорила не останавливаясь, долго. Козелло-Зелинский слушал ее, не перебивая, кивал лохматой головой, а когда она замолчала, он хмыкнул, шлепнул в ладошки и повернулся к Артемию Семенычу:

– Печальная получается повесть, хозяин. Девушка сия – француженка, Луиза Дювалье, и ехали они с мужем в наши благословенные края в качестве учителей французского языка. По дороге напали на них наши родные варнаки, ограбили, как водится, ночь продержали в каком-то сарае, а после ее посадил к себе на коня один из разбойников и куда-то повез. Ехали всю ночь, под утро остановились на отдых, развели костер, а тут и вы пожаловали. Похоже, говорит она истинную правду, я читал в «Губернских ведомостях», что в сиропитательном приюте французский язык будут преподавать. Значит, туда они и ехали. А приют содержит на свои средства господин Луканин, купец первой гильдии. Так что все теперь ясно. Вези ее в Белоярск, к Луканину, и сдавай с рук на руки живой и невредимой. Можешь еще и вознаграждение попросить: господин Луканин человек не бедный, за хлопоты твои какую-никакую сумму выложит. А сальце у вас замечательное, хозяин! Да и водочки пора плеснуть.

Все уже наелись, один только Козелло-Зелинский продолжал азартно таскать себе куски и кусочки, молотил, будто после долгой голодухи, и не переставал припрашивать водочки. Наконец он отвалился от стола, икнул и объявил:

– Благодарю, хозяин! Сущее раблезианство! Теперь будет только великий Гомер! Ты знаешь, кто такой Гомер?

– Не слышал я про такого, – степенно ответил Артемий Семеныч и скомандовал сыновьям: – Ребята, разболокай его, клади на лавку. Да шайку поставьте, а то еще блевать станет...

Козелло-Зелинский сладко потянулся на лавке под полушубком и вдруг завел неожиданно визгливым голосом:

Быстро ему отвечал повелитель мужей, Агамемнон:

«Так справедливо ты все и разумно, о, старец, вещаешь;
Но человек сей, ты видишь, хочет здесь всех перевысить,
Хочет начальствовать всеми, господствовать в рати над всеми,
Хочет указывать всем; но не я покориться намерен,
Или, что храбрым его сотворили бессмертные боги,
Тем позволяет ему говорить мне в лицо оскорбленья?»

Агафья Ивановна испуганно перекрестилась, парни захохотали, а Артемий Семеныч только покачал головой и пробормотал:

– Веселая нынче ночка будет...

И точно.

Долго еще Козелло-Зелинский оглашал избу стихами древнего Гомера, пока не обрвался на полуслове и не уснул.

Утром вскочил, как ни в чем не бывало, свеженький и бодрый, опохмелился, поел, и Артемий Семеныч повез его в Емельяновку.

По дороге он спросил у Козелло-Зелинского:

– Поинтересоваться хочу: за какие грехи, мил человек, тебя в наши края определили? Большую, видно, провинность допустил?

– Провинностей за мной почти нет, но много похоти и страсти к рифмоплетству. – Козелло-Зелинский снял очки, протер их и, близоруко прищуриваясь, продолжил: – Проживал я тихо и скромно, имел хорошее ремесло – чертежное и рисовальное, зарабатывал на хлеб и радовался жизни. Я в своем роде талант в искусстве – любой чертеж, любую вывеску так могу изобразить, что глядят и ахают. Но допустил я неосторожность влюбиться в одну особу. И одновременно с этим чувством начал кропать стишки. Писал их по версте в день, никак не меньше. Владелец лавки, где я покупал бумагу, на меня молился – такой прибыли ему никто не приносил. Но особу мои стихи не трогали, и она оставалась ко мне равнодушной. И вдруг в один прекрасный день говорит: «Я могу вам, Леонид Арнольдович, отдаться телом, но душа моя будет принадлежать только угнетенным людям. И стихи вы должны писать не о любви, а о борьбе с угнетателями». Согласен, говорю, моя божественная, и на тело согласен, без души, и на стихи согласен. С того времени в моих стихах гремели цепи, звучали проклятия тиранам, даже самого государя сподобился я помянуть недобрым словом, и много чего еще насочинял. А затем пришли жандармы, взяли меня под белы ручки и отвели в кутузку. Суд приговорил к пяти годам поселения, и вот я здесь. Печально и грустно. Зато стихов теперь совсем не пишу, обрезало. Нет худа без добра, как гласит народная мудрость.

– А особа ваша, она куда делась?

– Папаша ее дивно богатый человек и с большими связями. Дело смог замять, а саму особу, от греха подальше, увез в славный город Ниццу, где она сейчас и пребывает. Теперь у нее новая страсть, она увлеклась спиритизмом...

– Чем, чем? – не понял Артемий Семеныч.

– Если просто – чертовщиной. Впрочем, ты же здравомыслящий человек, хозяин. Зачем тебе про эту чертовщину знать? Да и мне ни к чему. В Емельяновке на спиритизм моды нет. А вот, кстати, и деревня наша показалась. Благодарствую, хозяин. Если нужда будет, обращайся.

Расстались они вполне по-дружески, и Артемий Семеныч, возвращаясь домой, удивленно покачивал головой, вспоминая рассказ ссыльного, мудреную фамилию которого он так и не смог запомнить.

3

Въезд в Белоярск начинался со Вшивой горки. Не меньше как на версту тянулся пологий подъем, закисавший в дождливую погоду непролазной грязью. Сколько здесь ступиц и тележных колес было сломано, сколько оглобель треснуло, сколько крепких слов в сердцах сказано – никому не ведомо. Но с прошлого лета подъем на Вшивую преобразился – его замостили камнем. Городской голова, Илья Васильевич Буранов, тряхнул своей личной мощной – с двух-то золотых приисков она тяжелая, нанял мастеров, и теперь телеги залетали на горку, как птички, только колеса о камни постукивали. Также и Артемий Семеныч заехал, дивясь столь необычной перемене и вспоминая свой последний приезд в Белоярск, прошлой осенью, когда он едва-едва пробрался в город, помогая коню и подталкивая телегу. В грязи тогда увазгался по самые уши. А нынче – красота. По плоским камням хоть на боку катись.

Белоярск со Вшивой горки открывался центральным Александровским проспектом, который застроен был богатыми домами, огороженными друг от друга высокими кирпичными оградами. Во всем здесь виделся не просто крепкий достаток, а настоящее богатство: и в ажурной деревянной резьбе на окнах, и в просторной посадке домов, и в железных крышах с водостоками, и в широких воротах, в которые можно было загонять по несколько телег сразу. Злые языки называли проспект Сиротским переулком. Ну что делать, злые языки везде имеются.

«Богато живут, богато...» – Артемий Семеныч смотрел по сторонам и причмокивал языком: он и сам был не прочь обзавестись такими хоромами, да только доходы не позволяли.

За спиной у него, укутанная в теплую шаль Агафьи Ивановны, сидела Луиза, молчала и только тревожно озиралась по сторонам. Артемий Семеныч, время от времени оборачиваясь, с жалостью поглядывал на нее, вздыхал: «Ну и угораздило тебя, девка, в такую историю попасть, нахлебалась страху...» А дальше он затаенно думал о том, что неплохо бы с господина Луканина хоть какую-нибудь денежку взять – что он, за просто так с девкой этой столько времени валандается... Ее поить-кормить надо было, до города доставлять...

Александровский проспект, заканчиваясь, упирался в Вознесенскую гору, на которой красовался храм, тоже Вознесенский, а дальше, за горой, возвышался луканинский дом-дворец. К нему и подкатил Артемий Семеныч, прямо к железной ограде, сбоку которой стояла просторная будка, а в ней сидел толстощекий парень с узкими глазками и старательно уминал большущий кусок рыбного пирога. На просьбу Артемия Семеныча позвать кого-нибудь из хозяев парень не отозвался, только выплюнул в ладонь рыбы кости и продолжил равномерно, как корова, жевать.

– Ты, дорогуша, беги скорей, пока я не осерчал, – нахмурился Артемий Семеныч, – хозяин точно уши тебе надерет, если не вовремя доложишь...

Парень сморщился, перестал жевать, сердито фыркнул, но поднялся с насиженного места и ушел в ограду.

Скоро вышел Екимыч, быстро глянул на Артемия Семеныча, на Луизу, строго спросил:

– По какой надобности?

Артемий Семеныч обстоятельно рассказал.

Не прошло и нескольких минут, как с высокого крыльца торопливо спустилась Ксения Евграфовна, быстро что-то сказала Луизе по-французски, приобняла ее и повела в дом. На верхней ступеньке крыльца обернулась:

– Екимыч, миленький, определи человека, распорядись, чтобы накормили, я с ним после поговорю.

– Ступай за мной, – Екимыч, не оглядываясь, направился к конюшне и на ходу добавил: – Темнеет нынче рано, в ночь тебе ехать никакого резону нет – ставь коня, поешь, переночуешь, а завтра с утречка и тронешься.

Артемий Семеныч, управившись с конем и чувствуя, что проголодался, поспешил следом за Екимычем, который повел его в отдельно стоящую просторную сторожку. По-хозяйски открыв дверь, Екимыч властно позвал:

– Анна, ты где?

– Здесь я, здесь, проходите, милости просим! – донесся в ответ приветливый, звонкий голос, услышав который, Артемий Семеныч сначала опешил и остановился, а затем, по-конски всхрапнув носом, ринулся в открытые двери, отпихнув Екимыча.

Стояла посреди сторожки и радушно улыбалась ему навстречу любимая дочь Анна.

Сердце Артемия Семеныча сжалось, как кулак, от невыносимой обиды и боли. Это какую же подколотную змеищу он на своей груди вынянчил, прощая ей все вольности и проказы! Строжась над парнями и не давая им спуска за любую шалость, дочу свою он любил и холил, ни в чем она отказа в родительском доме не знала. А в благодарность отцу родному бухнула позор на всю деревню! И долго еще этот позор не изжить Артемию Семенычу, ох, долго! А самое преподобное – с кем убежала?! С суразенком-нищобродом! В чужих людях, в услуженье обретается!

– Тятя... – только и смогла едва различимым вздохом вымолвить Анна. Румяное лицо ее побелело, а дивной красоты глаза остановились и потухли, словно застыли, прихваченные морозом.

– Не тятя я тебе, сучка подзаборная! – Кнут по старой своей привычке Артемий Семеныч нигде не оставлял, пока до дома не доберется и в сенях на особый гвоздь не повесит, он и теперь в руке у него был – взвился, из тяжелой сыромятины сплетенный, и перепоясал Анну по полному стану, будто каленым железом опалил. Анна вскрикнула, качнулась от боли и, не устояв на ногах, рухнула на колени. Кнут взметнулся еще раз и разорвал на покатых плечах голубенькую кофточку.

– Сдурел, окаянный! Не трожь бабенку! – Екимыч схватил Артемия Семеныча за руку, пытаясь вырвать у него кнут, но получил такой крепкий тычок в грудь, что загремел через порог и остался лежать, ударившись о ступеньку. Не шевелился. Только стертые подковки на сапожных каблуках весело поблескивали. Артемий Семеныч снова вскинул кнут, но опустить его не успел: через Екимыча, через порог махнул одним прыжком Данила, и молодой кулак смачно хлестанул в ухо, – голова у сурового тестя мотнулась на сторону, шапка слетела, и густые кудри встопорщились, словно встали дыбом. Но на ногах устоял, лишь пригнулся, чуть разворачиваясь, и добрый бойцовский удар выхлестнул у Данилы из носа темно-алую бруснику. Дальше тесть и зять схватились намертво, повалились оба и пошли катать друг друга поперек широких половиц.

Оклемався и заголосил Екимыч, призывая на помощь работников, которые тут же и явились, будто сказочные молодцы из сумки, проворные и хватистые, лишней работой не заморенные. Быстренько растащили драчунов по разным углам, насовали им от души колотушек, затем связали и выволокли на улицу.

– Ты зачем на бабенку налетел? Зачем ее лупить начал? – кричал Екимыч и подступался к Артемию Семенычу, который отворачивался от него, сплевывал на сторону кровавую слюну и тосковал: «Эх, ребят моих нету! Втроем мы бы вязы им посворачивали, мы бы им...»

– Тебя, дурака, спрашиваю! Ты зачем драться полез? – не унимался Екимыч.

– Отстань, поганец! – сердился Артемий Семеныч и снова сплевывал на сторону тягучую красную слюну. – Дочь она моя! Вот с этим суразенком из дома сбежала! Скажи, чтоб развяжали меня! Слышишь или нет?

– До-о-чь?! – нараспев переспросил донельзя удивленный Екимыч.

– Девка она гулящая, а не дочь мне! – в отчаянии выкрикнул Артемий Семеныч и злым, сорванным голосом попросил: – Да развяжите меня! Никого больше не трону! Кнут только верните!

– Точно драться не будешь? – уточнил Екимыч.

Артемий Семеныч обреченно кивнул, давая согласие. Его развязали, из сторожки принесли кнут. Он взял его в руки, оглядел, вышагнул правой ногой вперед, словно собирался упасть на колено, и с такой силой жиганул связанного Данилу, сидящего на корточках, что тот мякнул, как котенок, и завалился на бок. Артемий Семеныч круто развернулся и пошел, не слушая несущихся в спину криков Екимыча, напрямик к конюшне. Выехал оттуда, восседая в телеге, как каменная статуя, – даже глазом ни на кого не повел.

– Подожди! – окликнул Екимыч. – с тобой хозяйка поговорить хотела!

Артемий Семеныч не отозвался.

За воротами он обернулся и молча плюнул красной слюной в сторону луканинского дома.

4

Всякий раз, поднимаясь по широкой лестнице к сестре, в ее маленькую светелку, больше похожую на келью монашки, Захар Евграфович испытывал странное чувство: он ожидал, что его встретит прежняя Ксюха – смешливая, порывистая в движениях, бойкая на язык и по-девчоночьи бесконечно счастливая; открывал дверь, видел большой киот с иконами в переднем углу, Библию и Четьи-Минеи на столике, застланном черной скатертью, неярко горящую маленькую лампадку, слышал всегда тихий теперь голос Ксении Евграфовны, одетой в темное платье и в такой же темный платок, и с горечью понимал, что прежняя Ксюха навсегда осталась в прошлом. С тех самых горьких дней, которые перечеркнули несколько лет сестры и брата Луканиных особой, черной меткой. Об этих днях они между собой никогда не говорили и не вспоминали их, но большая зарубка оставалась на сердце и у Захара, и у Ксении. Они это оба понимали и жалели друг друга, как могут жалеть только любящие люди.

Те горькие дни... Нет, лучше не вспоминать, не сейчас... Захар Евграфович открыл двери, и в комнатку-келью сестры вошел, широко улыбаясь, с порога громко спросил:

– Ну и где наша французская дама? А, Ксюша? Дай мне хоть глянуть на нее!

– Нет ее здесь, Захарушка, – Ксения Евграфовна поднялась из-за столика ему навстречу, поправила низко повязанный темный платок и улыбнулась, как она теперь улыбалась, печально и немного испуганно. – Я ее в комнату определила, устроила, пусть сейчас поспит. Бедняжка...

– Чего она рассказывает? Где муж? Господин... как его? Дювалье?

– Страшная история, Захарушка... Я подробно не расспрашивала, пусть она в себя придет. Напали грабители, с мужем их разлучили, Луизу куда-то везли целую ночь, но встретился этот крестьянин и освободил ее. Знаешь, давай лучше так сделаем: расспросим завтра Луизу и крестьянина этого расспросим. Я просила Екимыча, чтобы он его ночевать оставил...

– Нету, Ксюша, нашего крестьянина, он такой сердитый оказался, целый бой устроил, только пушки не гремели. Всем оплеух навешал! Даже Екимычу досталось. А больше всего – Даниле с Анной: это, оказывается, отец ее. Увидел беглую дочь, взыграло ретивое! Он и пошел всех крушить. Ну, мужик! Суров!

– Ты так говоришь, как будто тебе в радость, Захарушка, – в тихом голосе Ксении Евграфовны послышалась укоризна.

– Да что ты, Ксюша, какая радость, нет никакой радости, а мужик мне понравился – крепкий мужик!

– Как же они жить будут, без родительского благословения?

– Ничего, время вылечит, помирятся... – беззаботно махнул рукой Захар Евграфович, – я тебе таких историй два куля могу рассказать. Поругаются, подерутся, а после живут все вместе – водой не разольешь. Ладно, Ксюша, пойду я молодых попроведаю – как они там? А с Луизой завтра разговаривать будем.

Ксения Евграфовна кивнула и ласково погладила брата по щеке. Тот, не оглядываясь, вышел, осторожно прикрыл за собой дверь, и улыбка, светившаяся у него на лице, потухла. Он спустился по лестнице, вышел из дома и направился к сторожке, но вдруг круто развернулся и двинулся в обратную сторону – к конторе.

Агапов, словно зная, что он придет, все еще был в своей каморке, несмотря на поздний час. Катался на коляске вдоль длинного стола, разбирал бумаги и бормотал под нос себе бесконечную песню про ухаля купца, ехавшего на ярмарку. Увидев хозяина, Агапов оборвал песню, развернул коляску и заговорил таким манером, словно они давным-давно ведут разговор и только что оборвали его на полуслове, чтобы передохнуть:

– Я от них весточку получил, от Дубовых. Сообщили, что днями мужичок этот, который Цезаря за Кедровым кражем видел, у них в ночлежке будет. Готовься, Захар Евграфович...

– Я уже давно готовый. Знаешь, вот сейчас у Ксюши был, глянул – и кулак сам сжимается: не могу ее такой видеть. Привыкнуть пора, а все равно – не могу. Жалко ее – хоть плачь! Я этого Цезаря, если найдем, своими руками на куски порву!

– Не бери печаль на сердце, Захар Евграфович. Найдем мы его, никуда не денется. Да и Ксения Евграфовна отгадет – дай срок. Все образуется. А теперь, коли зашел, подпиши мне бумаги.

Захар Евграфович подписал бумаги, которые выложил перед ним Агапов, и снова направился в сторожку, но с полдороги опять вернулся – на этот раз в дом, в свой кабинет. Рывком распахнул дверцу шкафа, достал, роняя на пол книги, серый пакет, перемотанный суровыми нитками, разорвал его и с силой сжал двумя пальцами, так, что побелели ногти, небольшую фотографическую карточку, наклеенную на картон. На карточке, опираясь рукой о резную тумбочку, стояла Ксения Евграфовна, светящаяся радостью, а рядом с ней, по другую сторону тумбочки – молодой, но строгого вида мужчина с аккуратно подбритыми усами, загнутыми на концах тонкими колесиками. За спинами у них красовалось озеро, а по озеру плыла пара лебедей с красиво выгнутыми шеями. Идиллия, да и только. Захар Евграфович осторожно разжал пальцы, и карточка, негромко стукнувшись ребром, упала на стол, перевернулась обратной стороной, и стала видна надпись, сделанная красивым почерком: «Дорогому Захару Евграфовичу от любящей сестры Ксении и Цезаря на долгую и вечную память».

– На долгую и вечную, – вслух повторил Захар Евграфович, сунул карточку в разорванный пакет и забросил его в шкаф, будто серая бумага обжигала ему кожу. Постоял посреди кабинета и вышел, не закрыв за собой двери.

Ранний осенний вечер уже сронил сумерки, и они плотно легли на землю. Быстро густели и наливались чернотой. Самая тоскливая и безрадостная пора в сибирской осени, когда снега еще нет, а земля уже голая и по ней с глухим мышинным шуршаньем ползет нудный и мелкий дождь.

Захар Евграфович постоял под этим дождем, пытаясь избавиться от злости, душившей его, и медленно, не торопясь, пошел к сторожке, до которой он этим вечером никак не мог добраться.

С недавнего времени, как только молодые поселились в сторожке, Захар Евграфович полюбил у них бывать. Тепло и душевно было ему здесь, когда вел он охотничьи разговоры с Данилой, а Анна, подав им чай, садилась в уголок с шитьем или с пряжей. Сам себе не мог объяснить Захар Евграфович – что его сюда тянет, да и не хотел объяснять. Просто приходил и засиживался порой допоздна.

В сторожке горела керосиновая лампа, было светло, и он сразу же увидел заплаканные глаза Анны и разбухший, посиневший нос Данилы.

– Что, ребята, нагнали на вас страху нынче? – прошел ближе к столу, на котором стояла лампа, сел и весело продолжил: – Вы сильно-то не горюйте, образуется. Пошумит ваш тятя, пошумит, да и смирится...

– Не знаете вы его, – вздохнула Анна, – он у нас как камень, его уговорами не проймешь.

– И уговаривать не будем, – сердито буркнул Данила, – много чести... Еще раз на тебя кинется, я ему руки выломаю!

– Даня, ты чего говоришь, ведь он отец мне!

– Такой отец хуже чужого дядьки, – упрямо стоял на своем Данила, который, похоже, не мог смириться, что драка для него закончилась столь бесславно.

– Ладно, ребята, – снова принялся уговаривать их Захар Евграфович, – все наладится. Это я вам обещаю, вот увидите. У меня слово легкое – обязательно сбудется. Я что пришел, Данила... Предлагают мне новую винтовку, даже картинку прислали из оружейного магазина. Хочу тебя с собой взять, когда в губернский город поеду. Посмотрим, приценимся...

– Да какие у них винтовки, Захар Евграфович! – Данила, довольный, что разговор пошел в иную сторону, загорячился: – Они серебром разукрасят от цевья до мушки и деньги дерут, а стрелить из этой игрушки – на три аршина с подбегу заряд не долетит!

– Вот и поглядим, чего они нам всучить желают.

– Только на уступку не идите, пока в стрельбе не проверим – никаких задатков не давайте.

Дальше разговор свернул на заячью охоту, на которую они собирались, как только ляжет первый снег, и затянулся этот разговор надолго – Анна им три раза чай подавала. Сторожку Захар Евграфович покинул уже за полночь.

5

Оставшуюся половину ночи Анна провела почти без сна. Смотрела широко раскрытыми глазами в непроницаемую темноту сторожки и видела разъяренное лицо отца, слышала его крик, думала с тоской, что теперь дорога в родительский дом заперта для нее накрепко. Ни приехать в родную Успенку, ни погостить, ни с матерью обняться, ни с братьями поздороваться. Горько. Но даже и сейчас она не жалела, что бросом все бросила и ушла с Данилой в полную неизвестность. Никого дороже для нее не было. Никого и ничего. Только он, Данила. Как свет в окошке. Она даже вздохнуть боялась, чтобы не разбудить его. А сам Данила, уложив голову на теплую и мягкую руку жены, чуть слышно посвистывал раненым носом, и снился ему дивный сон.

Будто бы он в лодке плывет, по неизвестной ему речке, на которой никогда не бывал, а по берегу, по белому, словно просеянному, песку бежит Анна. Бьется у нее в коленях платье, изорванное в лоскуты, тянет она к нему руки, кричит что-то, но Данила никак не может слышать. Гребет изо всех сил лопашными веслами, пытается повернуть лодку, чтобы причалить к песчаному берегу, а ничего не получается – тащит его стремительное течение, да так быстро, что от лодки расходится крутая волна. Анна бежит, не отстаёт, кричит по-прежнему, а он различить ни единого слова не может. И вдруг она ударилась о песок, перевернулась через голову и с разбегу – в воду. Только брызги во все стороны. Крутыми саженками, как мужик, пересекла стремнину, ухватилась за борт и перевалилась в лодку. Подняла голову, и Данила обомлел: косматая, седая старуха улыбалась ему, расшаперивая беззубый рот, тянула зеленые костлявые руки и пыталась ухватить его за колени. «Волхитка!»¹² – Данила выдернул весло из ключины, с размаху шарахнул им старуху по голове, она сникла и прилегла на днище лодки. Данила перевернул ее ногой и обомлел еще раз: Анна лежала перед ним, закинув на излом в кровь разбитую голову. А на берегу, возникнув неизвестно откуда, стоял Артемий Семеныч и хохотал без удержу, уперев руки в бока.

Данила взметнулся и заорал. От крика Анна тоже вскинулась на постели, схватила его за плечи, прижала к себе:

– Ты чего, родной?! Чего случилось?!

Данила помотал головой, сбрасывая остатки сна, со всхлипом втянул в себя воздух и выругался:

– Гадость приснилась!

– Ты расскажи...

Он еще помотал головой и, не желая пересказывать Анне дурной, страшный сон, пробормотал:

– Да я его и не помню толком, одно слово – гадость. Погоди, воды попью.

Холодная вода из деревянной кадлушки окончательно прогнала сон. Данила передернул плечами и сел на лавку возле стола, пытаясь понять и уяснить для себя – что за видение ему приблизилось, какой в нем скрыт смысл? Но никакого объяснения в голову ему не приходило, а задумываться над непонятным Данила не любил. Ему нравилось, когда все было просто и ясно. Как на охоте: вот – ты, а вот – зверь. Кто кого перехитрит... А сон пугал как раз непонятностью, скрытым смыслом, и Данила решил его забыть. Ну, приснилось и приснилось... Он вскочил с лавки, будто его подкинули, в один скачок допрыгнул до кровати и подмял под себя мягкую и теплую Анну. Она только и успела вымолвить:

– Вставать уж надо, Даня... Мне...

И – не договорила, задышала жарко и часто.

¹² Волхитка – ведьма.

А после, будто и не было бессонной ночи, вспорхнула, умылась, причесалась наскоро, накинула на себя теплую шаль и побежала на свою службу, на которую определил ее строгий Екимыч – Анна трудилась на общей кухне, где хозяйничал повар Николай Васильевич Миловидов. Из-за фамилии, а еще за необычный нрав все называли его Коля-милый.

Кухня – огромная изба, срубленная из толстых бревен – стояла отдельно от всех иных построек, и в ее широких окнах уже теплился желтоватый свет. Значит, Коля-милый на своем месте, ждет помощниц. Анна толкнула забухшую от влаги дверь, перешагнула через порог, скинула шаль и огляделась. Коля-милый, как обычно, сидел на своем законном месте, за маленьким столиком в углу, и раскладывал пасьянс. Колода карт была у него старая и разломаченная по краям, но Коля-милый ее не менял: считал, что чем старше карты, тем они крепче привязываются к хозяину и никогда его не подводят, выпадают так, как ему угодно. Каждое утро, приходя на кухню раньше всех, он начинал с пасьянса, и, если он у него сходил, Коля-милый встречал новый день в добром расположении духа и почти не кричал на своих помощниц – двух толстых и неповоротливых бабенок, до того похожих друг на друга, что их принимали за сестер, хотя они были совершенно чужими. У них даже имена были схожие – Анисья и Апросинья. К Анне отношение у Коли-милого с первого же дня проявилось особенное, можно сказать, отеческое. Он не уставал ее хвалить за проворность и понятливость, да и то сказать – старалась Анна на совесть, летала по кухне, проворная на ногу, как птичка, и любое дело в руках у нее горело.

– Здравствуй, Аннушка, здравствуй, моя хорошая! – приветливо отозвался Коля-милый, собрал со столика карты в колоду и сунул их в ящичек, спросил: – А коровы наши толстомясые еще спать изволят?

Будто услышав этот вопрос, явились Анисья и Апросинья, тяжело перевалились через порог, отпыхались и принялись затоплять печи. Коля-милый поднялся из-за столика, потянулся в свое удовольствие, так что хруст пошел, и весело гаркнул:

– Навались, красавицы! Раздайся грязь – дерьмо плышет!

И закипела работа.

Чугуны, ухваты, сковородники, ножи, терки, поварешки – все пришло в движение, загремело и застучало. Сама кухня наполнилась жаром и запахами, один другого соблазнительней для живота. Плиты докрасна раскалились. На них варилось, жарилось, парилось, пыхтело и булькало. Анисья, Апросинья и Анна очумело метались по кухне, лица у них стали красными, как после бани, а Коля-милый только покрикивал:

– Живей крутись! На одной ножке!

Сам он, натянув на лысеющую седую голову белую тряпицу с четырьмя узелками на концах, двигался неспешно и степенно, но руки у него мелькали так, что в глазах рябило. Коля-милый никогда ничего не взвешивал, не мерил – все строгал и сыпал на глазок, и никогда у него не было осечки, всегда – тика в тик. «Много будешь думать – варево испортишь, – говорил он и, подумав, всегда добавлял: – Кантарь¹³ для повара – все равно, что костыль для безногого: хромать хромает, а бежать не может».

Мудреный он был человек, Николай Васильевич Миловидов, иногда такое мог сказать, что Анисья и Апросинья только хлопали глазами и в ум никак не могли взять: о чем толкует?

Вдоль глухой стены стоял в кухне длинный дощатый стол, за который усаживались в один момент два десятка мужиков – горластые, прожорливые, успевшие с утра поработать и промяться. Только успевай подтаскивать – все сметают подчистую, еще и припрашивают, когда не хватит. Ели луканинские работники плотно, основательно, будто важную и нужную работу исполняли – день-то впереди длинный, до ужина еще далеко. Кормили их за хозяйский счет два раза в день, а вечером, кто пожелает, пили чай, приходя на кухню, но уже со своими ковриж-

¹³ Кантарь – весы.

ками. Для хозяев Коля-милый готовил отдельно и самолично относил приготовленные блюда в дом, никому столь важное дело не доверяя.

Работники наелись, ушли, оставив после себя кисловатый запах сена, навоза и конской упряжи. Анна быстренько убрала со стола посуду, перемыла ее и присела, переводя дух, на лавку. Рядом тяжело плюхнулись Анисья и Апросинья. Присел за своим столиком и Коля-милый, стащил с головы белую тряпицу и долго утирал толстое, широкое лицо с крупным мясистым носом и маленькими, почти заплывшими пороссячьими глазками. Утерся, сунул тряпицу в ящичек, где лежали у него карты, и скомандовал:

– Ставь самовар, Аннушка, пора и нам о собственном чреве позаботиться.

Анна выставила на маленький столик самовар, сахарницу, чашки, нарезала большими ломтями свежий хлеб, и все принялись чаевничать. Коля-милый прилепывал толстыми губами от удовольствия, жмурился, но вдруг пристукнул доньшком чашки о столешницу и строгим голосом спросил у Анисьи и Апросиньи:

– А вы знаете, курицы, какая именитая дата сегодня на календаре?

Те переглянулись, ничего не понимая, в один голос повинились:

– Не ведаем, батюшка.

– Не ве-е-даем, – передразнил их Коля-милый, – а должны ведасть, знать и чувствовать! Два года сегодня, как я вашу глухомань своим приездом осчастливил. Все оставил, сюда прибыл. Шутка ли! Николай Миловидов! По всей Москве гремел! Меня в любом приличном заведении знали, даже в самом Купеческом клубе. Да-с! В Купеческом клубе!

Коля-милый помолчал, пошлепал губами и, горделиво вскинув голову, закатил глаза в потолок, словно увидел там живописные картины своей прошлой жизни.

Про Москву и про Купеческий клуб он не врал. Служил Николай Васильевич Миловидов в этом клубе, известном не только по Москве, но и по всей России. Со всех концов империи бывают там богатые, деловые люди. Народ серьезный, всякие виды и чудеса выдававший, и удивить такой народ знатным кушаньем, чтобы довольными остались, – это тебе не селянку в паршивом кабаке замутить. Тут особый подход требуется, чтобы запела душа и развернулась, как гармонь, чтобы возликовала она и взлетела – вот тогда и кушанье явится. Такое, что самого искушенного и донельзя избалованного в еде человека за уши от тарелки не оттащить.

Николай Васильевич такие кушанья варить и стряпать умел. И в Москве о нем действительно знали.

Но был у него наравне с поварским талантом крупный изъян: время от времени шибко он запивал – с душой, с чувством, отдаваясь пагубной страсти всем своим существом, как и на кухне, когда варил, парил и стряпал.

Последний московский запой окончился для Николая Васильевича Миловидова очень плачевно. Полностью приготовив обед – закуски и горячие блюда уже в зал унесли – Николай Васильевич ни с того ни с сего, словно его бешеная муха укусила, набухал немеряно во все сладкие блюда горчицы и перца. Да не просто так набухал – сверху насыпал-наляпал, а с изяществом: упрятал острую приправу внутри кушаний столь старательно, что на виду ни одной перчинки не осталось. Берет мамзеля розочку воздушную кремовую, надкусывает – и глаза у нее застывают от ужаса, а в раскрытом ротике огонь пылает...

Зачем и по какой причине Николай Васильевич такую штуку проделал – он и сам, горемыка, не знал, а потому и другим объяснить не мог. На следующий день его вышибли со службы без всякого расчета. В чем был, в том и остался. Когда протрезвел, сунулся по другим заведениям на службу наниматься, а ему – отлуп. Большой город Москва, но слухи здесь проносятся скорее, чем в маленькой деревне. Не берут Николая Васильевича Миловидова в приличные заведения, и – баста! А в кабаки, где труба пониже и дым пожиже и где его приняли бы с удовольствием, он сам не желал идти: гордыня ноги крепче веревки связывала. Дожился – до края. У того же Купеческого клуба стоял и милостыню на прокорм просил. Здесь его Захар

Евграфович и увидел случайно, из жалости сыпнул мелочи в ладонь, спросил из любопытства: какая нужда выкинула ради Христа подавание собирать? Николай Васильевич, до слез тронутый чужим вниманием, поведал ему без утайки свою горькую историю. Захар Евграфович велел ему на следующий день явиться в гостиницу. Николай Васильевич явился. На предложение ехать в далекий и неведомый Белоярск согласился без раздумий и даже поклялся, перекрестясь, что ни одной капли зеленого вина, от которого все несчастья в жизни случаются, больше в рот никогда не возьмет.

Но дорога от Москвы до Белоярска долгая, ухабистая, и клятвенное обещание, пока ехали, неведомым образом растряслось. Забылось. Три-четыре месяца, а то и полгода Николай Васильевич находился в полной трезвости, как светлое стеклышко, но вдруг, без всякой видимой причины, слетал с катушек и, вздымая над головой недопитый мерзавчик, громовым голосом вопрошал Анисью и Апросинью:

– Что есть еда для человека? Отвечайте, курицы мокрые, когда вас спрашивают!

– Не ведаем, батюшка, – невнятно бормотали бабенки, пугаясь громового голоса Коли-милого, который на милого, пребывая в затыжном угаре, совсем не походил – грозен! Того и гляди, оплеухи начнет развешивать.

– Что есть еда для человека? – снова вопрошал Коля-милый, и снова, не дождавшись ответа, объяснял: – Еда для человека есть высшее наслаждение. Кто умеет испытывать это наслаждение, тот является высшим человеком! А кто жрет, как свинья из корыта, лишь бы требуху набить, тот и в жизни своей является той же самой свиньей, с одной лишь разницей: не хрюкает, а умеет говорить. Понимаете меня, курицы?!

Анисья и Апросинья ничего из таких витиеватых речей не понимали, но кивали послушно и терпеливо ждали, когда у Коли-милого иссякнут силы. Обычно это происходило так: он осекался на полуслове, закрывал глаза и медленно начинал оседать, пока не достигал задним местом лавки. Достигнув, откидывался к стене и мгновенно засыпал, продолжая вздымать над собой в полусогнутой руке недопитый мерзавчик.

В последний раз в нынешнем году загулял Коля-милый накануне Троицы, а на саму Троицу Захар Евграфович уже пригласил гостей на праздничный обед. Что делать? И тут кто-то вспомнил, что Коля-милый боится до полного ужаса Мишки и Машки. Если он по случаю оказывался во дворе, а зверей в это время выводили из клетки, Коля-милый улепетывал с невиданным проворством на кухню, запирался там на все запоры и не открывал дверь до тех пор, пока сам Екимыч не сообщал ему, что медведи заперты в клетке и можно выходить на свободу. Захар Евграфович долго не раздумывал: велел срочно сделать еще одну клетку, поставить ее рядом с медвежьей и посадить туда Колю-милого. Что и было за полдня исполнено. Просидев ночь рядом с медведями, Коля-милый вышел наутро из клетки трезвым и молчаливым. Мотня его штанов была подозрительно темной, будто он водой облился.

– В следующий раз, – грозился Захар Евграфович, – я тебя прямо к медведям запрю!

До сегодняшнего дня такой надобности не возникало.

А обед на Троицу Коля-милый приготовил столь высшего разряда, что гости Захара Евграфовича вспоминали его и восхищались еще долго.

– Никак скучаете по Москве-то, батюшка? – льстивым голосом спросила Анисья.

– Бывает, – важно ответил Коля-милый, – бывает, что явится тоска по прежней жизни, вспомнишь золотые денечки... Да-с! Я ведь по всякому ремеслу гораздый, я из всякой беды найду лазейку и вылезу. Вот вспомнилось... До Купеческого клуба еще было... Служил я в хорошем ресторане, у господина Грудина. И случилась у нас незадача – проквасили мы пудов пять свежайшей стерляди да осетрины еще, не вспомню сколько. В то лето жара стояла неимоверная, ледники у нас все потаяли, ну и проквасили. Не в кашу, конечно, а так – крепкий запашок имелся. Куда девать? Выбрасывать – убыток, деньги-то за рыбу выплачены, назад не возвращешь. На столы подавать – заведению урон. Гости почтенные, не приведи бог, унюхают,

могут и тарелку обратно подать – в рожу. Бывало, бывало... Так вот, стерлядь с осетриной киснет, хозяин, господин Грудин, за голову хватается, а меня возьми да осени... Бегом к распорядителю, он у нас двадцать лет на ресторанном деле был, все прошел. Слушай, говорю, мой замысел. Он выслушал и давай меня целовать, кричит: «Шельма ты, Колька! Большая шельма! Выгорит дело – я от хозяина награду для тебя исхлопочу! Ах, шельма!» С тем и убежал. А перед вечером собирает он всех девок, прости Господи, шансонеток то есть, и делает им внушение, то есть объявление. Вы, говорит, мамзели, все при нашем заведении обретаетесь и выгоду свою имеете... Так уж, будьте ласковы, помогите... И помогли они нам! Садится такая шансонетка с приличным господином за стол и требует стерлядей либо осетрины. Приносят. Она два-три раза вилочкой ковырнула и дальше по меню просит, чего ей желается. Больше к стерлядям не притрагивается. А рыбка-то уже в счет выставлена! Так мы все пять пуд стерлядей и осетрину, не помню сколько, и пристроили. Скормить не скормили, а денежку выручили. Хозяин, господин Грудин, хорошо тогда меня отблагодарил...

– А они, шансонетки-то, гулящие али как? – полюбопытствовала туповатая Апросинья. Коля-милый захохотал и захлебнулся чаем.

В это время открылась дверь, и на пороге встал Екимыч. Обшарил маленькими, цепкими глазками всю кухню, до последнего уголка, непорядков не обнаружил, но все равно выговорил:

– Ты погляди на них! Чай гоняют! Делать вам больше нечего!

– Да только сели! – откашлявшись, сердито громыхнул в ответ Коля-милый, который всякий раз старался показать Екимычу, что здесь, на кухне, он сам себе хозяин и подсказчики ему не требуются. – Нам тоже пить-есть требуется, не святым же духом!

– Да ты не ори! – осек его Екимыч, но сам голос сбавил и почти дружелюбно договорил: – Большой обед требуется на вечер готовить. Нарочный прискакал – «Основа» подходит...

6

Луканинский пароход «Основа» ждали с верховий реки Талой еще на прошлой неделе, даже посылали конных нарочных в прибрежные деревни, но те возвращались с одним и тем же известием: не видели... Два других парохода, принадлежавшие Луканину, давно уже стояли в затоне, а «Основы» все не было и не было. И вот сегодня прискакал нарочный, сообщил: на подходе. А задержались по причине малой воды в верховьях и из-за снега, который повалил в последние дни стеной. Шли самым малым ходом, боясь сесть на мель. Но теперь плавание можно считать законченным; после обеда, как передал нарочному капитан Дедюхин, «Основа» будет в Белоярске. Разгрузится и встанет, как в прежние годы, в затоне на ремонт, а по весне, когда Талая с грохотом унесет вниз тяжелые льдины, снова выйдет в плавание по полой воде и огласит округу своим знаменитым гудком – плавным, тягучим, словно протяжный и радостный вздох.

Встречать «Основу» вышло множество народа. Даже Агапов велел себя доставить на берег. Сидел в своей коляске, укутавшись в старый полушубок, смотрел на реку, затем переводил взгляд на Захара Евграфовича и задумывался, опустив голову. Сам Захар Евграфович нетерпеливо прохаживался по причалу, вглядывался в серую морось, которая плотной завесью висела над темной текучей водой, и ожидал, когда покажется из-за пологого речного поворота знакомый нос любимого парохода. «Основу» Захар Евграфович действительно любил. Как-никак, а первый пароход, который достался ему с великими трудами и тревогами. Даже его имя нравилось, хотя изначально он придумывал ему совсем другое – «Основатель». Но маляр, нанятый нарисовать это имя над кружалом, столь большущими намалевал первые буквы, что получилась «Основа», а больше свободного места не оказалось. Решили не перекрашивать. «Основа» так «Основа». Даже лучше. Хорошо звучит, внушительно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.